

Из дальних лет. Том третий

Автор: Пассек Татьяна Петровна

Т. П. Пассек

Из дальних лет Воспоминания. Том третий

(Главы, напечатанные в "Полярной звезде", 1881 г.)

Серия литературных мемуаров

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 1963

ИЗ ДАЛЬНИХ ЛЕТ (Главы, напечатанные в "Полярной звезде", 1881 г.)

Печально я смотрю на дружные портреты.

Черты знакомые и полные тоски!

Такие ль были мы в былые лета?

.....

Иные в гроб сошли...

.....

Мы проводили их. В пустыне многолюдной

Немногие остались в живых...

...Жизнь моя полна,

На радость мне любовь дана от бога,

И песнь моя на радость мне дана,

Но в этой радости как грусти много!

Н. Огарев¹.

1

Мне было лет тринадцать, когда тетушка моя Лизавета Петровна сказала, что берет меня с собой к Огаревым. С этим семейством она была давно знакома и дружна. Огаревы были люди очень богатые и иногда проводили часть лета в своем прекрасном тверском именье, лежавшем в двенадцати верстах от маленького уездного города Корчевы, по другую сторону Волги².

Мы поехали после раннего обеда. День был жаркий и такой тихий, что когда мы переплывали на пароме Волгу, то вода была неподвижна как стекло, и паром точно разрезал ее. Я села на широкую лавку и, облокотись на огородку парома, с чувством почти детского счастья, к которому не примешивается ничего постороннего сверх видимых предметов, смотрела на отражавшиеся в реке берега и безоблачное небо.

За Волгой нас ожидала вперед переправленная коляска, мы с нее сели, и четверка лошадей быстро понесла "ас широкою дорогой, пролегавшей то цветущим лугом, то полями ржи и овса. Радостное чувство не оставляло меня, я не могла насмотреться на притихнувшую природу, как бы переполненную блаженством жизни, не могла надышаться воздухом, проникнутым запахом еще не скошенной травы, цветов, наливавшихся колосьев хлеба, и не заметила, как подъехали к большому барскому дому; слуга чинно провел нас в гостиную, паркетный пол которой был устлан живописными пушистыми коврами, на окна были опущены зеленые жалюзи.

Через несколько минут в гостиную вошла медленными шагами высокая, худощавая старушка, с видом достоинства и строгой чинности, отпечаток которой лежал на креслах, столах, диване, на коврах, окнах, на всей комнате, все они, казалось мне, были точь-в-точь как вошедшая в гостиную старушка.

Старушка эта была мать умершей жены владельца имения. Тетушка очень любила и уважала ее. Дружески поздоровавшись с нею, она представила ей меня. Старушка, едва улыбнувшись, слегка кивнула мне головой, что-то вполголоса сказала и больше не обращала на меня никакого внимания.

Светлое настроение духа моего, мало-помалу, стало заменяться скукой и тоской, которые не уменьшились даже и тогда, когда в гостиную вошла внучка старушки, девочка лет четырнадцати, высокая, тоненькая, сдержанная и чинная, точно бабушка. Она села подле меня, как бы нехотя заговорила со мной и была так натянута и холодна, что тоска моя возросла еще более.

Вечерняя заря догорала, в гостиную внесли две восковые свечи под абажуром, несмотря на то что глаза старушки были прикрыты шелковым зеленым зонтиком. В то же время в комнату вошел мальчик лет девяти, одетый в лейб-гусарскую пунцовую курточку с золотыми шнурками.

Ребенок остановился посреди комнаты и, как бы стараясь припомнить что-то чуждое тому, что он видел, задумался, потом равнодушно обвел все грустным взором, тихо, лениво подошел к старушке, немного постоял подле нее и медленно вышел вон.

Этот мальчик был -- Ник, единственный сын Огарева, кумир всего семейства, наследник пяти тысяч душ богатых крестьян в разных губерниях,

Вот при каких условиях я увидела в первый раз Ника, который впоследствии был не чужд моей жизни.

Мы уехали от Огаревых довольно поздно. Помню, ночь была волшебная. Поля полны аромата и тишины; Волгу мы переплыли при свете месяца и видневшихся в городе огоньков.

Спустя два года я опять увидела Ника в Москве, в доме его отца, на Никитской3. Огарев пригласил нас с тетужкой на торжественный званый обед, сделанный для каких-то знаменитых духовных лиц. Гостиная была полна нарядных дам, девушек и пожилых мужчин, и на всей роскошной обстановке дома лежала такая же чинность и тоска, как и на их деревенском доме, и на всех лицах, при самом пестром разнообразии, сквозила какая-то общая черта, которая делала их поразительно схожими. Изю всех выделялся задумчивый мальчик лет двенадцати, он как-то чуждо сидел в амбразуре окна, подле своего воспитателя, немца К. И. Зонненберга, и молча, безучастно смотрел на окружающее его. Это был Ник, который являлся передо мной в деревне в пунцовой лейб-гусарской куртке. Зоиненберг, невысокий, худой, рябой, с белокуро-золотистой накладкой на голове, необыкновенно подвижной и суетливый, представлял резкую противоположность с Ником. Он улыбался гостям, заговаривал с проходившими мимо их, щеголевато перекидывал ногу на ногу и, казалось, был готов ежеминутно сорваться с своего поста при Нике.

Роскошный, утомительный обед происходил при свете люстр и канделябр. Все разъехались вскоре после обеда.

В это время я жила в Москве в доме дяди моей матери Ивана Алексеевича Яковлева, где, по выходе моем из пансиона, продолжала учиться с его меньшим сыном Сашей, товарищем моего детства, который был на два года моложе меня.

Когда Нику было лет тринадцать, то отец его, бывший сенатором, родственник Ивана Алексеевича, стал иногда привозить его к нам с собою. Тихий, застенчивый мальчик неподвижно сидел в гостиной и смотрел на все рассеянно своими кроткими, прекрасными глазами. Саше он нравился тем, что не походил ни на кого из известных ему мальчиков, но несмотря на это он чуждался его и часто не выходил к нему из своей комнаты.

От времени до времени отец мой брал меня месяца на два в Корчеву, где у нас был свой дом, а поблизости именье.

Однажды, в то время, как я находилась в Корчеве, Зоиненберг с утра привез к Ивану Алексеевичу Ника и просил оставить его у них на весь день. У Ника умерла бабушка⁴. В их доме была суета. Зонненберг хлопотал, совался во все, хотя его и не просили, и представлял, что он сбит с ног долой. Ник был огорчен и перепуган. Он бабушку любил и впоследствии поэтически вспомнул ее в одном из своих стихотворений.

Саша не способен был утешать кого бы то ни было, но по необходимости пригласил Ника в свою комнату и принужденно стал развлекать его разговором; разговор не вязался, тогда Саша предложил ему вместе читать Шиллера. Сходство вкусов и самим им непонятное влечение друг к другу вскоре так сблизили их, что они и не заметили, как прошел день, а через месяц Саша был привязан к Нику со всей порывистостью своей натуры. Ник любил его глубоко и тихо.

Эта детская дружба имела огромное влияние на всю жизнь каждого из них.

Несмотря на то что очень юный возраст брал иногда свое, они смотрели друг на друга как на predetermined для высших целей жизни, -- это придало их дружбе с самого начала характер серьезный.

Зонненберг, заменивший прежнего дядьку при Нике, круто изменил весь прежний изнеженный порядок его физического воспитания. Сверх всего, он стал рано поднимать его с постели и вел гулять на чистый воздух. Со времени сближения Ника с Сашей, они утром заходили за ним и брали его на свои прогулки. Избранными местами этих прогулок были поля за Дорогомилловской заставой и Воробьевы горы.

Вскоре Воробьевы горы сделались местом закладки истории жизни обоих друзей; однажды после обеда, в то время как Ник и Зонненберг были у Саши, Иван Алексеевич собрался прогуляться в Лужники и пригласил их с собою.

В Лужниках они переехали в лодке Москву-реку, и пока Зонненберг развлекал Ивана Алексеевича разными анекдотами, Саша и Ник ушли далеко вперед и взбежали на Воробьевы горы и на место закладки Витбергова храма Спасителя, и там перед закатывавшимся солнцем, в виду раскинутой под горою на необозримом пространстве Москвы, обняли друг друга и дали клятву в вечной дружбе и борьбе за истину⁵.

На Воробьевых горах они определяли и предметы своей деятельности. Там в 1833 году Ник робко, застенчиво спрашивал Сашу, признает ли он в нем поэтический талант, и, уехавши с отцом в деревню, писал ему оттуда:

"Выехал я, и мне стало так грустно, как никогда не бывало. А все Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги, застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их; но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством, ты разделял его со мною, и эти минуты незабвенны. Они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес; все было сине, сине, а на душе темно, темно".

С 1827 года Саша и Ник не разлучались. Спустя много лет Саша, вспоминая о Нике, говорит; "В каждом воспоминании того времени, отдельном и общем, везде на первом плане он, с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виднелось на нем то помазание, которое достается не многим, на беду ли, на счастье ли -- не знаю, но наверное на то, чтобы не быть в толпе"⁶.

У Саши и Ника почти все учителя были одни и те же, и они в одно время поступили в университет; Ник вольным слушателем. Они жарко следили за всеми политическими и литературными событиями того времени и увлекались крупными деятелями.

Спустя немного времени по их вступлении в университет было арестовано несколько молодых людей, и над ними назначена военно-судная комиссия⁷. Все опасались за себя, это заставляло сильнее биться сердца и теснее сблизиться друг с другом. В это время Ник и Саша встретились в университете с Вадимом Пассек и скоро подружились с ним. В доме Вадима они сблизились с Н. Х. Кетчером, А. Н. Савичем и другими молодыми людьми. Они стали собираться то у того из них, то у другого, чертили планы своей будущей деятельности, соответственно наклонностям каждого избирали поприща, на котором, трудясь, могли бы принести пользу родине.

Все были возбуждены, все работали, учились, приготавливаясь на великое исполнение своего призвания. Все

хотели поднять родину не только в уровень с Европой, но выше ее, сделать ее образцом для европейских государств.

Ник говорил, однако, что его призвание быть поэтом, музыкантом.

В 1833 году он писал Саше:

"Скажи, веришь ли ты моему призванию? С некоторого времени я так полон, можно сказать, задавлен ощущениями и мыслями, что мне кажется, мало того кажется, -- мне врезалась мысль, что мое призвание быть поэтом, стихотворцем или музыкантом; alles eins {все равно (нем.)}, но я чувствую необходимость жить в этой мысли, у меня какое-то самоощущение, что я поэт. Положим, я пишу еще дрянно; но этот огонь в душе, эта полнота чувств дают мне надежду, что я буду и порядочно писать. Извини за такое пошлое выражение; ты, может быть, понимаешь меня лучше, нежели я сам"⁸.

На это он получил от Саши ответ и, приводя слова ответа, писал:

"Да, ты поэт, поэт истинный!" Друг, можешь ли ты постигнуть все то, что производят эти слова? Итак, не ложно все то, что я чувствую, в чем моя жизнь! правду ли говоришь? Это не бред горячки -- я это чувствую, ты меня знаешь больше, чем кто-нибудь, не правда ли? Действительно, я это чувствую. Нет, это высокая жизнь не бред горячки, не обман воображения, она слишком высока для обмана -- она действительность. Я живу ею, и не могу вообразить себе ее иною жизнью.

Для чего я не знаю музыки? какая симфония вылетела бы из груди моей теперь! Вот слышится величественное *adagio*, и нет сил выразиться, надобно больше сказать, нежели сказано. *Presto, presto*, мне надобно бурное, неукротимое *presto*. *Adagio* и *presto*, две крайности. Прочь с этой посредственностью: *andante, allegro, moderato* {Медленно... быстро... спокойно, живо, умеренно (итал. -- музыкальные термины)}. Это заики или слабоумные. Не могут ни сильно говорить, ни сильно чувствовать.

Село Чертково, 18 августа 1833 г."

В этом же году Ник писал:

"Я не могу еще взять те звуки, которые слышатся душе моей, неспособность телесная ограничивает фантазию. Но, черт возьми! я поэт -- поэзия подсказывает мне истину, там, где бы я ее и не понял холодным рассуждением. Вот философия откровения!

В этой неуверенности в себе, в этом страстном желании слышать от других подтверждение того, что чувствуешь сам, -- уже сквозит зарождающееся творчество. А восторженный лепет юности указывает, что тот, кто так чувствует, может и падать, но всегда поднимется, и застрахован от всякого рода пошлости"¹⁰.

В 1841 году Ник, вспоминая, как он в первый раз стал пробовать свою лиру, писал:

Камин погас, в окно луна

Мне светит бледно. В отдаленье

Собака лает... Тишина...

Потом забытые виденья

Встают в душе...

.....

.....

.....

В такую ж ночь я при луне

Впервые жизнь узнал душою...

И пробудилась жизнь во мне,

Проснулось чувство молодое --
И робкий стих я в тишине
Чертил тревожною рукою¹¹.

Этот юный, дружеский круг почти каждый день собирался вместе -- то у Вадима, то у Ника. У Александра не было возможности -- отец Саши терпеть не мог всех его товарищей и с досады называл их фамилии наизусть. Всего удобнее было собираться у Ника, он жил один в большом доме своего отца у Никитских ворот, получал большое содержание, но несмотря на это -- занимал только одну комнату в нижнем этаже, обитую пунцовыми обоями. Тут он спал на широком диване, тут же, на круглом столе, угощал товарищей сыром, колбасой, иногда холодной дичью и шампанским. Другого рода съестные запасы у Ника появлялись редко -- он не обращал внимания на хозяйство, всем заведовал его камердинер, и Ник оставался доволен тем, что тот ему давал.

В Нике было что-то магнитное, что к нему тянуло всех и делало его сердцем кружка.

Держал себя Ник всегда одинаково как в обществе товарищей, так и с посторонними. Бывало, сидит в стороне и, где можно, курит сигару, говорит мало, тихо, как-то с расстановкою, никогда не возвышает голоса и не ищет быть замеченным. Из отдаленного уголка он любил прислушиваться к говору друзей и, если замечал чье-нибудь умное или острое слово, сейчас обращал на него внимание других.

Кроме того что он был истинный поэт и писал стихи с большим чувством, он страстно любил и понимал музыку, особенно Бетховена, и сильно возмущался, если кто исполнял его не точно и небрежно. "Бетховена, -- говорил он, -- надобно прежде изучить, а потом осмеливаться играть".

Увлеченный страстью к музыке, он написал текст для оратории Гебеля, известного композитора того времени¹². Сам он играл хорошо на фортепьяно и превосходно читал стихи, но был так скромнен, что редко кому удавалось его слышать.

Раз как-то все товарищи собрались вечером у Е. Ф. Корша, в то время редактора "Московских ведомостей". После ужина Ник взял том сочинений Пушкина и спросил, не желает ли кто прослушать "Онегина". Все с радостью окружили его, притихли и превратились в слух. Ник стал читать -- и перед всеми вставали живые лица, слышались живые разговоры. Читая:

Онегин выстрелил... Пробили

Часы урочные: поэт

Роняет молча пистолет...

На грудь кладет тихонько руку

И падает... 13--

голос Ника дрогнул, когда же он произнес: "Друзья мои, вам жаль поэта", -- слезы ручьем хлынули из глаз его, Он закрыл книгу и проговорил: "Да, и нам жаль Пушкина".

На всём, что делал Ник, лежала печать глубокого чувства, благородства и благовоспитанности, никто не слышал от него, хотя бы в шутку, ни резкого слова, ни нескромного замечания.

В начале тридцатых годов Нику и его товарищам попала в руки брошюра сен-симонистов.

Проповеди и процессы сен-симонистов поразили их. Они видели в этом явлении целый мир новых отношений между людьми, мир духа, здоровья, красоты, мир естественно-нравственный и потому чистый, и сен-симонизм лег в основу их убеждений, а спустя несколько времени он перешагнули дальше.

Но несмотря на то что многие из этого круга не сделались последователями сен-симонизма и что как взгляды их, так и избранные ими пути деятельности были различны и разнообразны, они сближались все

теснее и теснее.

25 июня 1834 года, в шесть часов утра, камердинер Ника вошел в комнату Саши, разбудил его и сказал, что в два часа ночи приезжал к ним полицеймейстер, забрал бумаги Ника и самого его увез с собою¹⁴.

Саша не мог понять, за что арестовали Ника. Он только за день перед тем приехал из деревни; накануне был день именин отца Саши, Ник весь день провел у них и уже поздно уехал к себе.

Саша встревоженно вскочил с постели и, сам не зная зачем, вышел из дома. Пока он бесцельно бродил по улице, ему пришло в голову съездить к одному из своих знакомых, человеку богатому и большому либералу.

Знакомый этот жил на прелестной даче вблизи Москвы. Когда Саша рассказал ему, в чем дело, либерал страшно перепугался, советовал ему держать себя как можно осторожнее и говорить о Нике как можно менее и тише.

Саша поклонился, взял шляпу и уехал. Дома он нашел всех в страшном волнении. Рылись в его книгах и бумагах, отбирали, по их мнению, опасное и сердились на Сашу за арест Ника.

По возвращении своем Саша нашел записку к себе от Михаила Федоровича Орлова, в которой он приглашал его к себе обедать.

"Не поможет ли Орлов?" -- подумал Саша и отправился к нему.

Орлов, расспросивши подробно Сашу, дал ему письмо к князю Сергею Михайловичу Голицыну, в котором просил его принять подателя письма и разъяснить ему, в чем дело Ника.

Князь сказал, что Ник и с ним еще несколько молодых людей арестованы по высочайшему повелению и над ними назначена следственная комиссия. Поводом к этому был будто бы данный праздник 24 июня у одного из арестованных.

Саша не мог ничего понять -- ни о каком празднике они не слышали. Он просил разрешения видаться с Ником, говоря, что Ник ему родственник. Видеться с ним ему не позволили, а в ночь на 15 июля арестовали и самого¹⁵.

Всех арестованных держали несколько времени по частным домам; потом перевели в Крутицкие казармы.

По окончании следствия тюремное заключение им было ослаблено, и им позволено было видаться с родными. В половине марта приговор был утвержден, а в конце того же месяца подсудимых собрали к князю Голицыну для выслушания приговора.

Свидание всех одушевило. Окруженные гарнизонными офицерами и жандармами, они весело жали друг другу руки, обнимались, расспросам и рассказам не было конца.

Когда собрались все члены комиссии и вошел князь Голицын, прочитан был приговор. Саша высылался в Пермь. Ник -- в Пензу.

Ц..., обратясь к Нику, тихо сказал: "Вы едете в Пензу по просьбе князя Сергея Михайловича. Ваш отец просил государя назначить вас в этот город, чтобы ваше присутствие там сколько-нибудь облегчило удар, нанесенный ему вашею ссылкой. Неужели вы не находите причины благодарить князя?" -- добавил он, видя, что Ник не говорит ни слова.

Ник слегка поклонился князю.

Потом князь, обратясь к Саше, сказал:

-- Вы едете в Пермь -- там у меня есть имение...

-- А! Вероятно, вашему сиятельству угодно что-нибудь приказать через меня вашему управляющему? -- спросил Саша.

-- Таким людям, как вы, я не даю никаких поручений! -- отвечал князь и отвернулся¹⁶.

Кроме участия князя Голицына, отец Ника сам ездил в Петербург, просил государя о помиловании сына и о позволении ему жить в имении. В уважение заслуг отца, государь позволил ему взять к себе сына с условием, чтобы он следил за ним и не допускал общаться с товарищами.

Отец Ника все обещал и повез сына в свое пензенское имение -- село Акшено.

В первую ночь приезда в Акшено Ник, сидя у окна, в своей комнате, писал:

Какая тишь! Как одиноко!

Как близко ждешь ударов рока!

Тоска! Тоска!.. Невольно тут

Я стал искать себе приют

Среди моих воспоминаний,

Любви и счастья... и они,

Они пришли...17

Ник вспомнил о своей первой отроческой любви -- чистой, как весеннее утро, в доме их жила молоденькая девушка, бедная родственница его отца. Она была мила, образованна, знала хорошо музыку и прелестно пела. Ник привязался к ней со всем жаром первой юности. Она отвечала ему.

Но между ними протеснились иные люди, не столь светлые, как они, и судьба этой девушки разыгралась и кончилась трагически18.

Первое время Ник жил почти безвыездно в деревне. Писем он ни к кому не писал, и ни от кого не получал, если же приходило письмо на его имя, то отец сам распечатывал его и уже прочитавши передавал сыну.

В то время в Пензе был губернатором Панчулидзе; отец Ника находился с ним в приятельских отношениях и представил ему сына. Сначала Ник бывал у Панчулидзева изредка, потом стал бывать чаще, запросто, наконец присутствовал на званых обедах и балах,

Ника привлекала бывать у Панчулидзева жившая у него его племянница, Марья Львовна Рославлева. Это была девушка бедная, лет двадцати двух или трех, брюнетка, с прекрасными, выразительными темными глазами. Умная, светски-образованная, она тотчас поняла светлую любящую душу Ника, тоску его одиночества, его безвыходное положение и дружески сблизилась с ним. Ник, жаждавший сочувствия, любви, ожил, отдался ей со всем пылом юности и неопытности, а спустя немного времени предложил ей руку19.

Отец Ника был в восторге от Марьи Львовны и радостно согласился на брак сына. Сверх всего, он надеялся, что женитьба на развитой, симпатичной женщине отвлечет его от опасных связей.

Молодые были счастливы. Ник с каждым днем открывал в жене все больше и больше достоинств и все сильнее привязывался к ней.

Богатство и знатность рода, дававшиеся ей в удел, по-видимому, не имели никакого влияния ни на ее чувство к Нику, ни на отношения к знакомым; она по-прежнему держала себя просто и была ласкова и внимательна ко всем, как и в то время, когда была бедной девушкой, зависящей от милости дяди. Вниманием и почтительной любовью она так привязала к себе старика отца, что он души в ней не слышал. Во время его тяжелой предсмертной болезни она ни днем, ни ночью не отходила от его постели и так привязала к себе старика, что он не мог оставаться без нее ни минуты.

В 1838 году старого Огарева не стало.

Когда Ник и жена его услышали, что сестра Сатина на Бородинских маневрах выпросила помилование своему брату, то у них родилась мысль ехать в С.-Петербург и также просить о помиловании. Не думая долго, Марья Львовна запаслась рекомендательными письмами от разных значительных особ к влиятельным лицам. Когда все было готово, Марья Львовна вместе с мужем отправилась в путь с тем, чтобы по дороге заехать во Владимир к Саше.

В начале 1839 года они оставили Акшено и прибыли во Владимир. Друзья увидались в первый раз после ссылки. "Это были те дни полноты и блаженства, -- говорил после Саша, -- в которые человек, не подозревая

того, касается высшего предела личного счастья. Ни тени черного воспоминания, ни малейшего темного предчувствия -- молодость, дружба, любовь, избыток сил, энергия, здоровье и бесконечная дорога впереди"20.

В первую минуту свидания Сашу точно по сердцу черкнул неприятный, резкий голос Марьи Львовны; но и это тяжелое впечатление исчезло при свете радости.

Спустя несколько дней Ник уехал обратно в деревню, а Марья Львовна отправилась в Москву. В Москве она перезнакомилась со всеми друзьями мужа, очаровала их своей любезностью и вниманием и поехала в Петербург хлопотать о возвращении мужа в Москву.

Марья Львовна очаровала не только друзей мужа своего, но и Александра с Наташей. "Ты должна сойтись с этой божественной женщиной, -- писала Наташа о Марье Львовне к другу своему Т. А. Астраковой. -- Мы никогда не мечтали, чтобы в одной личности могло быть соединено столько достоинств. Когда первые восторги свидания, затихли, то Александр принес чугунное распятие из нашей комнаты, которое Ник отдал ему при расставанье, и мы все четверо стали перед ним на колени и со слезами благодарили искупителя за наше свиданье, за эту взаимную дружбу, которая искупает все страдания разлуки. Затем не было конца объятиям и поцелуям"21.

Впоследствии Марья Львовна призналась Саше, что все происходившее у них во Владимире изумляло ее и казалось натянутым и ребяческим.

В Петербурге она выпросила прощенье мужу и чрез месяц, возвращаясь в деревню, опять заезжала во Владимир. Саше показалось, что столица, аристократический круг и блеск богатства вскружили ей голову, -- и он задумался, но надеялся на любовь ее к Нику.

По приезде в Москву Ник поселился с женою на даче в Петровском парке и жил так тихо, что большая часть его товарищей и не знала о их приезде, -- только с некоторыми из них он видался иногда, когда приезжал в город хлопотать о найме квартиры. Чаще всех он видался с одним из более любимых товарищей, Николаем Ивановичем Астраковым.

Спустя несколько месяцев после возвращения Ника разрешен был приезд в Москву и Александру. Он сначала приехал один, пробыл в Москве несколько дней, видался с Ником и некоторыми из товарищей, -- радость была общая и искренняя. Потом уехал по делам в Петербург, где пробыл довольно долго22. По отъезде Саши Ник нанял большой дом на Арбате и, пока его квартира устраивалась, оставался в парке. Оттуда он писал Николаю Ивановичу Астракову:23

"Вот я все еще в парке, любезнейший Николай Иванович, -- живу далеко от пыли, то есть шагов на двести. Каждое утро езжу на воды и устаю как собака. Читаю "Гамлета" и гуляю. Вот все, что я делаю. Получил письмо от Герцена, который кланяется, спрашивает, получили ли вы его письма, и удивляется, что вы ни слова о себе не сказали. Еще великая просьба -- так как я из чужих краев не поехал дальше парка, то отдайте вручителю письма новый номер "Отечественных записок" или мой билет на оный. Герцен в письме так ругает Белинского, что мне даже совестно. Барон его за это разругал в некоторых словах, какие он имеет обыкновение писать к отсутствующим всегда в одном тоне, то есть в бранчливом. Прошу сказать мой поклон Татьяне Алексеевне и поклониться Пешкову. Прощайте. Дай бог вам всякого блага и даже вашей клубнике, которой у нас нет.

Преданный вам Н.

Петровский парк, 24 июля".

Саша, возвратившись из Петербурга, перевез в Москву свое семейство и поместился в небольшом доме на одном дворе с большим домом, занимаемым его отцом. В Москве дом Ника сделался по-прежнему сборным местом старых и новых друзей, молодых ученых, художников, литераторов. Большая часть из них были из круга Станкевича, который в это время лечился за границей. К этому кругу принадлежали: В. Боткин, Красов, Катков, Кольцов. На первом плане стояли Белинский и Бакунин. Философия у них входила во все, даже и в музыку, -- всех связывали общие интересы и одинаковые убеждения. Для кого эти убеждения не составляли

жизненного интереса, те мало-помалу отдалялись, и их заменяли другие.. Новые знакомые приняли Александра с почетным снисхождением, намекая, что он -- вчера, а они -- сегодня, и требуя безусловного принятия логики Гегеля²⁴.

Товарищи, друзья, знакомые отнимали у Ника пропасть времени и отвлекали от занятий. Несмотря на это, он всех встречал со своей кроткой улыбкой, и любящая душа его все сближала, грела и успокоивала. Тут одни забывали свое богатство, другие бедность, не заботились о личной выгоде, об общественном положении, об обеспечении. Все усилия были устремлены к общим целям, к истине, к науке, к искусству.

Чье дыхание коснулось этих людей!

Взгляд на Марью Львовну в Москве стал изменяться. Сблизившись с несколькими аристократическими домами, она старалась ввести в них и Ника и выговаривала ему за его плебейские привычки и знакомства. Ник задыхался от скуки в пустом мире, куда она насильно увлекала его, но, любя ее, не хотел огорчать отказом. Совсем же оторваться от привычного ему образа жизни он не мог и стал от времени до времени уезжать один из дома, кутил в кругу немногих любимых друзей и возвращался домой на рассвете. Это раздражало ее и восстанавливало против самых близких ему из друзей. Не привыкнувшая обуздывать себя, самолюбивая, она оскорбляла их, так же как и она, раздражительных, так же как и она, самолюбивых. Ее несколько сухие манеры и насмешки восстановили против нее нескольких человек, -- может быть, слишком обидчивых!

Больше всего она боялась влияния на Ника Саши, горько упрекала его в разрушении ее счастья из самолюбивого притязания на исключительную дружбу ее мужа и была крайне неуступчива. Саша, в свою очередь, сделался беспощаден.

Ника никто не пощадил: ни она, ни Саша, ни другие. Ник страдал. В одном письме он говорил: "Они выбрали мою грудь полем сражения и не думали, что тот ли, другой ли одолеет, мне все равно больно". Он заклинал их мириться -- они мирились, но оскорбленное самолюбие и обидчивость вспыхивали от одного слова. С ужасом видел Ник, что все дорогое ему рушится. Он "не мог разлюбить ни ее, ни нас, и с печалью видел, что и мы ни одной капли горечи не убавили в чаше, которую ему поднесла судьба. Он старался сохранить и ее и нас, не выпускал ни ее, ни наших рук, а мы свирепо расходились, четвертуя его, как палачи". Так, с грустью вспоминая об этом времени, говорил впоследствии Саша²⁵.

Утомленная борьбой и неприятностями, Марья Львовна уговорила Ника ехать за границу. "Там мы будем счастливы по-прежнему", -- говорила она, и они уехали²⁶.

За границей Марья Львовна взяла с мужа вексель в 30 000, чтобы на всякий случай быть обеспеченной, и накупила себе множество дорогих вещей, а спустя несколько времени она объявила Нику, что больше не любит его, и уехала с одним русским художником, обязавши мужа высылать ей ежегодно известную сумму на ее содержание.

Ник возвратился в Россию с Сатиным, жившим в одно время с ним за границей, и, к восторгу всех своих друзей, неожиданно явился в университет на лекцию Грановского, Все наперерыв старались развлекать Ника.

Дружба Наташи, жены Александра, была для него лучшей отрадой. Он поверял ей все свои душевные тайны и ей первой читал свои поэтические произведения.

В начале сороковых годов Саша с семейством переехал в Петербург, где он поступил на службу, а Ник уехал в свое имение,

2

В 1846 году, по кончине отца Саши, вместе с ним переехал в Соколово и Ник, незадолго перед этим возвратившийся из-за границы. Сколько помнится, он поместился, вместе с Н. Х. Кетчером, в небольшом флигеле в конце парка. Все они в это лето много работали и очень часто гуляли в парке. Поблизости Соколова нанимал дачу М. С. Щепкин, он часто приходил к ним пешком в парусинном пальто и в шляпе с широкими полями, пел малороссийские песни, шутил и смешил всех до слез. Каждую субботу приезжал в Соколово Т. Н. Грановский с Е. Ф. Коршем и оставались там до понедельника; нередко и другие товарищи навещали Александра я Ника и жили у них иногда по несколько дней.

Соколово принадлежало когда-то графам Разумовским; в то же время, о котором я говорю, им владел генерал Дивов, Оно находится в двадцати верстах от Москвы по петербургской дороге, немного в стороне. Таких красивых местностей в Московском уезде встречается мало. Обширный парк с широкими аллеями столетних лип простирается версты на две по берегу реки. За рекой высится гора, виднеются деревеньки и стелется море нив. Среди парка большой дом с террасами весь в цветниках, затопленных бесчисленными кустами роскошных роз. Кроме большого дома, находится совсем в парке дом поменьше -- его-то и занимал Александр. С одной стороны этого дома в густой тени развесистых деревьев местами зеленели полянки, на которых дружеский круг усаживался на разостланных коврах и проводил целые часы в одушевленных разговорах, чтении и разных развлечениях. С другой стороны парк спускался к реке, тихо катившейся в песчаных берегах. Берег, где находится усадьба, местами порос кустарником, и плакучие ветлы купали в воде свои гибкие ветви.

Первое время в деревне все были счастливы и возбуждены умственными вопросами. За трудностью касаться вопросов политических живыми вопросами были, по преимуществу, вопросы науки и литературы. В этом-то мире и пробегала тень протеста, таившегося в обществе, на котором сходились все. Так жилось им не одно это лето. Но в это лето, в тиши и однообразии деревенской жизни, мало-помалу по некоторым предметам они договорились до разногласия. Споры стали повторяться на тысячи ладов и наконец вызвали самую болезненную сцену между Александром и Грановским. Все встревожились, старались затушевать, сгладить, и, по-видимому, все успокоилось, все пошло по-старому, но внутреннее распадение не исчезало, а увеличивалось возникавшими время от времени мелочами и недоразумениями. Все как бы подернулось крепом²⁷. Ник больше всех огорчился этими размолвками. Спустя немного времени Александр стал хлопотать о паспорте за границу, а Ник, не дождавшись еще выезда друга из России, -- уехал в свое Акшено. В деревне он находил отдых и удовлетворение естественным требованиям своей души. Здесь Ник увидал семнадцатилетнюю дочь соседа Алексея Алексеевича Тучкова Наталью Алексеевну, заинтересовался ею, и между ними возникли самые симпатичные отношения. Чтобы чаще видеть молодую девушку, Ник, вообще не любивший общества, стал посещать ее семейство, с которым и прежде был несколько знаком. Посещения эти продолжались недолго. Семейство Тучковых уехало за границу. В Париже Алексей Алексеевич увидался с Александром и поместился с ним в одном доме.

Наташа, жена Александра, пришла в восторг от молодых девушек, особенно от меньшей -- ее тезки Наташи, она не расставалась с нею, звала ее своей Консуэлой и с каждым днем привязывалась к ней все сильнее и сильнее. Молодая девушка отвечала Наташе таким же страстным чувством и, в минуту сердечного увлечения, открылась ей в своей любви к Нику и добавила, что он об этом не знает и хотя относится к ней внимательно и дружески, но отвечает ли взаимностию -- ей неизвестно²⁸.

У Наташи тотчас родилась мысль соединить дорогие ей два существа, и она решилась написать Нику, "Вот, -- писала она ему, -- личность, которую я полюбила за светлый ум и прекрасное сердце и еще больше за то, Ник, что она любит вас". Ник, быть может, еще и сам не определивший ни своего чувства, ни ее к нему любви, этим письмом был взволнован -- чувство было названо, тайна души открыта, -- он смутился и стал думать, как бы соединить свою жизнь с жизнью дорогой ему девушки. Но как? У него была жена.

Когда Тучковы возвратились в Россию и остановились на время в Москве, то молодые девушки прежде всего поехали к другу Наташи, Т. А. Астраковой, и передали ей от нее письмо²⁹. Наташа писала ей: "Приласкай моих двух старших дочерей, они милы, добродушны, развиты", -- и много еще разных похвал говорила о них. Татьяна Алексеевна, женщина здравого, пронизательного ума, хотя и не пришла в восторг от рекомендованных ей девушек, как Наташа, но хорошо расположилась к ним и отнеслась сердечно, впоследствии же даже была у них в деревне Яхонтове вместе с братом своим Сергеем Ивановичем Астраковым, с которым Ник был очень дружен.

Когда до жены Ника дошел слух о его привязанности к меньшей дочери Тучкова, то она, несмотря на то что сама оставила его и постоянно получала определенную ей сумму на прожиток, пришла в такое негодование, что грозилась подать ко взысканию выданный им ей вексель.

Ник, весь увлеченный новым чувством, не обратил на это большого внимания и думал только о том, как бы устроить свою жизнь вместе с любимой девушкой.

В это время в Москве один из лучших друзей его Н. М. Сатин женился недолго думая на старшей дочери

Тучкова, и когда молодые собрались ехать в имение Сатина, то предложили и Наталью Алексеевну взять с собою, а между тем условились с Ником, что он увезет ее с дороги. Слышно было, что Алексей Алексеевич это знал, но сделал вид, что не знает.

Ник дожидался путешественников один в отдельной комнате, в трактире у Серпуховской заставы, а карета его стояла наготове у заставы. Сергей Иванович с Татьяной Алексеевной приехали проводить их и в дружеской беседе помогали Нику сократить время ожидания. Наконец явились Сатины, а с ними и Наталья Алексеевна. Тут они все вместе напились чаю и простились. Сатины отправились к себе, а Ник с Натальей Алексеевной на южный берег Крыма³⁰.

Из Крыма Ник часто писал к Сергею Ивановичу. Вот одно из этих писем, из которого видно, как сильно увлекался он естественными науками, несмотря на только что устроившуюся жизнь вместе с любимой женщиной³¹.

"Ут-Чум.

Давно собираюсь писать тебе, друг Сергей, и все не мог собраться. Мне хотелось сказать тебе очень много, и не решался, многое не формулировалось, а так писать, что, слава богу, здоров, -- не стоит того; и теперь я не совсем в хорошем расположении духа, чтобы писать, но три причины заставляют не откладывать долее: 1) ты, может быть, недоволен мною за молчание, 2) поручаю тебе передать как можно скорее прилагаемое письмо Грановскому или Кешке, 3) глупо ли, нет ли, хочется с тобой поговорить.

Ваше горячее участие в нашей судьбе осталось у меня в памяти. Дайте вас обнять, Сергей и Татьяна Алексеевна, я чувствовал, что вы нас любите, и поехал под этим впечатлением. Право, я не могу забыть того вечера и этот трактирчик: и гроза, и чувство счастья и скорби, которыми я был полон, и ваше симпатичное провожанье, все это часто приходит на мысль. И хорошо и тяжело становится, когда вспоминаешь. Но satis! {довольно! (лат.).} не хочу впадать в чувствительность, не потому, чтобы боялся упрека в сантиментальности, а потому, что есть вещи, которые слишком тревожно захватывают, и внутреннее равновесие более всего нарушается.

В ту минуту я понял, Сергей, что между нами есть страшно много точек соприкосновения, симпатий, даже теоретических. Я думаю, что последними шутить нельзя, в самом-то деле, только они несколько проясняют личность, они делают для нас человека симпатичным или нет.

Ты, может быть, спросишь, что же я сделал в эти два месяца для теоретических потребностей. Вот об этом-то очень бы хотелось поговорить. Мне жестоко жаль, что тебя здесь нет. Вдвоем можно бы более делать, явилось бы более запросов в науке. Приехав сюда, я увидел невозможность заняться физиологией, не достанешь предметов для скальпеля, а я еще без скальпеля не могу понять.

Мне нужна наглядность форм для того, чтобы понять жизнь организма. Убедившись в этой невозможности, я принялся за химию. Не могу сказать, чтобы для химии здесь было под рукою все, что нужно, но много из нужных предметов есть. Я брал для анализа вещества мне неизвестные. Прокопавшись над этим бесплодно недели две, увидел, что делаю вздор, и принялся пытаться отношения всех известных тел, какие могу достать (и в известном порядке), на реактивах. Дело пошло хорошо, даже очень хорошо. Практической частью я очень доволен. Я ознакомился с разными веществами; дней через десять я это занятие покончу и примусь опять, уверен, с большим успехом, за неизвестные вещества. Я в мое пребывание здесь приобрету новые приемы в анализе. Но теория, это -- другого рода дело. Мое невежество в математике и физике меня останавливает на каждом шагу. Я чувствую, что скоро должен приняться за математику; без механики едва ли можно сделать достоверный шаг в химии. Конечно, тебе эта фраза покажется странною. Чем больше я осматриваюсь, тем больше мне становится ощутительным, что каждое химическое сочетание, каждый осадок, каждое образование кристалла повинуются часто математическим законам. Даже -- но это слишком gewagt {рискованно (нем.).} -- даже эти мистериозные сродства, где одно тело уступает другому свое место в сочетании, в котором находилось, -- может быть просто повинуются законам тяжести. Заметь, что тело, которое не растворяется в воде, производит осадок, а тело, которое растворяется в воде, не может превышать удельного веса 1. Ты скажешь, что это положение требует доказательств. Весьма согласен, но не думаю, чтобы доказательства были не в пользу. Впрочем, я и не говорю, чтобы одна тяжесть участвовала в

необходимости тел сочетаться или нет. Сочетание, как и всякое явление, есть результат всех элементарных сил, его производящих; но тяжесть тут должна уходить на многое. Уже одно то, что иные тела не могут разлагаться или соединяться иначе, как при известной температуре, доказывает мне вот что: что отношение температуры изменяет отношение веса и объема (плотность), следовательно изменяет тяжесть. Кстати, о плотности и пр. Цифра мне трудна, и вдобавок есть расчеты, которые мне кажутся страшно бесплодными. Во-первых, я прошу у тебя объяснения: что такое удельная теплота. Я иначе не могу понять этого как % температуры, при котором тело не изменяет своей формы, рассчитанной относительно известной единицы. Книжки меня смущают: кажется, они разумеют что-то другое, и я прихожу в смущение.

Напиши мне, пожалуйста, обо всем этом, я прошу, ибо не знаю и недоумеваю. А что такое *atome, molecule, particule*? {атом, молекула, частица (франц.).} Что такое закон отношения числа частичек (*molecules*) к объему тела?.. Вспомнил еще, что все тела равно тягостны в безвоздушном пространстве, тут и вес-то покажется результатом тяжести тела и сопротивления среды, отношение которых есть давление. Вес и давление, может быть, это одно в то же. Или я уже запутался? Устал писать. Будет об этом. Еще я читаю противоречия. Но об этом говорить не хочется. А желал бы еще свидеться. Может быть! Когда? Не знаю! Ну! Это струна, которая звучит болезненно. Чувствую, что на месте долго не проживу, да и домой хочется.

Получаю кой-какие газеты, читаю всегда последний номер и чувствую при этом чтение неопределенную скуку, Видно, политический мир меня мало интересует, Я бы скорее согласился ехать в Калифорнию, чем принимать в нем участие, А что, в самом деле? Не съездить ли нам в Калифорнию, как ты думаешь? Пока я в Крыму и хорошо здесь, потому что природа богатая и живется. Ну! прощайте, будьте здоровы и пишите немедленно. Мне пора на почту.

Адрес мой или на мое имя в г. Ялту (Таврической губернии) или в Одессу Ан. Фед. Богданову, в театральном доме, с передачею".

Пока Ник наслаждался в Тавриде волшебной природой, любовью и естественными науками, дело о векселе продолжало идти своим чередом. Друзья советовали Нику продать имение³², чтобы оно не попало в руки его жены, и разделаться с нею. Ник на все был согласен, только бы не мешали его жизни, и тотчас же выслал полную доверенность на продажу своих двух имений на имя Грановского, человека самого честного и благородного, но, как говорили, не имевшего понятия, как вести дела такого рода. Стали отыскивать покупателей. Одно из продававшихся имений было село Акшено, Пензенской губернии, другое не помню где, но достоинством и ценностью равное первому. Наконец решили, что одно имение оставит за собой Сатин, безденежно, с условием ежегодно выдавать Нику в продолжение его жизни, в виде процента с этого имения, по 3000 руб. На другое имение нашелся покупатель с наличными деньгами. Это был Николай Филиппович Павлов. При выборе, кому какое взять имение, вышло затруднение и несколько довольно странных сцен. В это лето Н. Ф. Павлов жил с своим семейством в Соколове, где жила также и я с моими детьми; они занимали большой дом, а мы флигель, отделенный от дома широкой липовой аллеей, и довольно часто видались с Павловыми. При мне не раз происходил выбор, кому какое имение оставить за собою. Если Павлов спрашивал Сатина, какое имение он желал бы оставить за собой, то Сатин отвечал: "Да ведь вы знаете; имения во всех отношениях равны, следовательно, какое хотите, то и берите, а мне, право, все равно". -- "Нет! -- возражал Павлов. -- Я бы желал, чтобы вы первые выбрали". -- "Пожалуй, -- отвечал Сатин, -- я возьму Акшено". -- "А! Акшено, -- восклицал Павлов, -- видно, оно лучше". Сатин спешил возразить: "Извольте, я возьму другое, берите Акшено, только кончайте скорее". -- "Ну, нет-с, -- перебивал его Павлов, -- Акшено не беру, а беру другое".

Задачу эту однажды случайно решил Грановский; он вполголоса спросил Сатина: "Ну что, взял Николай Филиппович Акшено?" -- "Нет", -- тихо отвечал Сатин. Павлов это услышал и торжественно объявил, что он Акшено не берет, а оставляет за собой другое. На этом дело тут же и решили.

Но прежде нежели дело было порешено, нашли необходимым спросить Ника, согласен ли он будет на предложенные условия. Сергей Иванович Астраков, зная бескорыстие и неопытность Ника, боялся, что Ник согласится на предлагаемые условия; он ясно понимал, что с продажей имения Ник лишается лучших средств и что для него гораздо выгоднее занять деньги для уплаты по векселю и выплатить с доходов своих богатых имений, нежели продавать их, и потому желал удержать его от продажи. Когда стали искать

человека, чтобы послать к Нику в Крым, он предложил свои услуги" Все согласились. Сергей Иванович взял отпуск на двадцать восемь дней, но отъезд его как-то оттянулся на три недели, срок отпуска кончился, и ехать ему было нельзя. Тогда отправили в Крым брата Михаила Семеновича Щепкина, который, как говорили, мог только представить Нику бумаги для подписи и передать письма. Ник, в чем были и уверены, недолго думая подписал все.

Таким образом Ник из богатого человека, получавшего десятки тысяч дохода, остался при трех тысячах рублей пенсии. Когда получено было согласие Ника, Н. Ф. Павлов тотчас выдал деньги, за вычетом того, что следовало по векселю Марье Львовне {Деньги никогда по назначению не дошли, и Марья Львовна Огарева умерла в Париже в мансарде, не имея во время предсмертной болезни куска хлеба. Куда девались деньги? -- вопрос, который теперь еще затрагивать мудрено. Современникам хорошо известна вся эта темная история, наделавшая в свое время шума. (Прим. редакции "Полярной звезды".)33}. Так как именье успели продать прежде, нежели вексель был подан ко взысканию, то поверенный ее согласился сделать некоторую уступку. Обо всем этом Нику сообщили в Крым. Он одобрил и был чрезвычайно рад, что так все устроилось счастливо. Неопытный в делах, не знавший счета деньгам, он не придавал большого значения своим именьям и даже не подумал о том, что из очень богатого человека сделался человеком с ограниченными средствами.

Кроме этих двух имений, у Ника было еще богатое именье, в котором крестьян он отпустил на волю, продавши им за бесценок дорогой лес34.

Из Крыма Ник и Наталья Алексеевна приехали в именье ее отца, в село Яхонтово, и поселились там. Спустя несколько времени пришло известие, что жена Ника скончалась36. Известие это всех порадовало, особенно Тучковых, и тут же было решено, чтобы Ник и Наталья Алексеевна ехали немедленно в Петербург. Сборы были непродолжительны. В Петербурге они обвенчались в присутствии дяди Натальи Алексеевны Павла Алексеевича Тучкова и других родственников. Через несколько дней Ник с женою возвратился в Яхонтово.

Из Яхонтова Ник часто переписывался с Сергеем Ивановичем Астраковым. Он чрезвычайно любил его, хотя во взглядах на обыденную жизнь они во многом расходились, и так был откровенен с ним, что, несмотря на свою скромность и сдержанность, всегда указывал ему на чрезвычайно тонко подмечаемую им фальшивость иных людей; но так как он вел себя со всеми равно, то никто и не догадывался, что у него самый верный критический взгляд и оценка.

Около половины 1852 года Т. А. Астракова получила письмо из Ниццы от жены Александра33. Она писала карандашом: "Я лежу в постели, слаба, но надеюсь скоро встать. Боюсь встать, -- увижу море..." Далее она зовет ее к себе, говорит: "Хочу тебя видеть, Таня, поговорить... приезжай непременно". В этом же письме была вложена записка к жене Ника, второпях она просила ее об ответе поскорей. Татьяна Алексеевна стала собираться, а так как она не знала иностранных языков, то приискивала себе попутчика. В этих сборах прошло около трех недель, и когда она уже готова была выехать, то получила письмо от М. К. Рейхель, в котором она уведомляла Татьяну Алексеевну, что Наташа скончалась 2 мая в семь часов утра. Известие это поразило всех как громом. Астраковы горько плакали о ней и предполагали, что катастрофа с Колей, потонувшим с бабушкой в Средиземном море, свела Наташу в могилу. Конечно, это было также одною из причин; но всего того, что случилось с их друзьями за границей, они еще не знали. Ник был глубоко огорчен кончиною Наташи и плакал о ней как ребенок. Он жил в это время в Яхонтове, куда, по приглашению его и Тучковых, приезжали погостить Сергей Иванович и Татьяна Алексеевна. Из Яхонтова они вместе с Ником и Натальею Алексеевной ездили на писчебумажную Тальскую фабрику, принадлежавшую Нику или бывшую у него в аренде, наверное не знаю. Фабрика эта находилась в Симбирской губернии, Корсунского уезда, близ Корсуня. Нику хотелось поручить управление фабрикой Сергею Ивановичу, но это не состоялось, так как, по-видимому, Наталья Алексеевна этого не желала37.

По отъезде Астраковых из Яхонтова Ник стал постоянно переписываться с Сергеем Ивановичем. Из писем Ника видно, что он в этом находил не только удовлетворение душевной потребности делиться нравственными и умственными интересами с симпатичным ему человеком, но вместе с тем пользовался его советами и его содействием по делам фабрики.

Большая часть знавших Ника ошибочно думали, что он ведет праздную жизнь избалованного барина; напротив того, Ник постоянно был занят. Кроме многостороннего чтения и музыки, он изучал физиологию, физику, химию, математику, медицину, политические науки и даже очень успешно лечил народ, живши в

Яхонтове. Сергей Иванович, ближе всех бывший с Ником, говорил, что он не знал ни одного человека с таким всеобъемлющим умом и здравым рассудком, каким обладал Ник, и что если бы с молодости обстоятельства не разбили его сердца и не уязвили его души, то он мог бы принести много пользы не только частной, но и общественной. Все, что Ник писал, не бросалось в глаза, но было прочувствовано. Дорожил он больше всего справедливою мыслью и избегал эффектов по врожденной скромности. Вследствие этой резко выдававшейся черты его характера, многие незаметно для самих себя часто руководились его мнениями.

Письма Ника могут отчасти характеризовать и дать некоторое понятие о его образе жизни в этот период времени в пятидесятых годах,

"1852 г., октября 9.

Хлопоты, заботы денежные совсем поглотили меня. Куда все пошло -- и наука и все хорошее? все к черту!

Хотелось тебя обнять, потому что тебя люблю, чтобы сказать тебе братское спасибо за живое участие в моей судьбе. Ты улыбаешься? -- не улыбайся. Укажи мне, много ли из друзей прокатятся с Девичьего поля черт знает куда, чтобы устроить дела друга? Слов больше, чем дела, друг мой, несмотря на все мое уважение к человечеству, но будет об этом. Я знаю, ты скажешь, что, к сожалению, мы вошли в те лета, когда любишь видеть в четырехугольнике не круг и не треугольник и т. д. Длинного письма от меня не получишь теперь, не до того; колотился как рыба об лед, а вот Наташа тебя увидит скоро, мне некогда. Тьфу ты пропасть! Заметь, если Буш составляет половину моего капитала, то фабрика составляет другую, хлопочи об одной половине, а я буду хлопотать о другой. С любовью думаю, что ты единственный взялся хлопотать об той половине; быть может, и грустно, что ты единственный, а вместе с тем и хорошо. И как-то горд становишься, чувствуя живое участие тебя, единого. Ну, дай руку и давай говорить о деле. Скажи Бушу; я требую две вещи -- осторожность и скорость... Заметь, что газетные публикации длинны и опасны; министерство короче, но не знаю, возможно ли? Пусть Буш употребит весь свой ум. Заметь ему, что я человек с состоянием, -- это для него обеспечение.

Только неделя как выкарабкался из бесконечных счетов, и начинаю работать -- это полуотдых, а может, и четвертьотдых, Я не, дома и не все пособия под руками",

"1852 г., ноября 9,

Друг Сергей! Наташа едет в Москву, я -- в Симбирск. И расстаться с ней не хотелось, и тебя обнять хотелось. Денежные дела решают иначе, кроме семейных препятствий. Неутешительно! Доверенность посылаю на этой неделе. Уговори Буша, чтобы он действовал до получения денег. У меня товар еще на руках, деньги будут собираться в феврале по апрель. Скажи о заказе.

Если бы ты знал, как мне в эту минуту грустно, как мне страшны еще какие-нибудь утраты в жизни. Это черт знает что! ну! впрочем, что будет, то будет, а что будет, то -- функция данных. Утешительно! Пиши в Корсунь, покамест Наташа у вас".

"1852 г., декабря 30.

Друг Сергей! Третьего дня я приехал и все счета и счета, дела и дела. Доверенность Бушу и свидетельство погоды отдавать до моего следующего письма. Addio" {Прощай (итал.)}.

"1853 г., марта 9.

На меня находит какая-то горячка деятельности, когда думаю обо всем, что можно сделать, и затем отчаяние, когда вижу, что ничего не делаю и что это ничегонеделание результат двух данных: собственной лени и обстоятельств. Эта перемежающаяся лихорадка надежд и отчаяния, кажется, и тебе знакома. Мы должны служить друг другу исцелением, а не составлять две перемежающиеся лихорадки. Ты не можешь себе представить, как я одушевляюсь, когда думаю, что вдвоем можно приняться за постоянный,

основательно рассчитанный труд.

Желаю, чтобы эта мысль вызвала в тебе такое же живое сочувствие, какое возбуждает она во мне.

О предлагаемой машине писать ничего не могу, надобно говорить.

Пиши чаще".

"1854 г., января 26. Старое Акшено.

Мое пребывание на фабрике навело меня на разные размышления. Во-первых, как была бы выгодна фабрика на ассоциации труда для всех участвующих лиц, а во-вторых, как крепостничество портит русского работника. Уверенный, что его никак нельзя прогнать за тунеядство, он не хочет делать все, что может, и едва ли способен на это, даже при ассоциации труда. Косность неимоверная. При ассоциации труда надобно бы предполагать, что работник сделает все, употребит весь свой труд, чтобы фабрикация шла хорошо, -- в чем руководила бы его собственная выгода, а вот тут-то и сомненье. "Не будь выгоды, не будь и работы, проживу как ни на есть?" Как при таких данных сделать фабрикацию возможною? Это не шуточный вопрос. Когда нет стремления жить лучше, -- о, что же остается? -- возмутительная мера -- власть или уничтожение фабрикации.

Но перервем мы эту речь,

Литература надоела,

Пусть пишет Нестор, пишет Греч, --

Что нам до этого за дело?38

Читал ли ты статью Перевошикова об Араго?39 Мне она мудрена, но я над ней тружусь. Но больше чем когда-нибудь тревожит меня другой вопрос, непрерывно отклоняемый коммерческими делами, -- счетами и расчетами -- и это вопрос о движении жидкости в животном организме. Я этот вопрос ставлю выше всего в науке -- он должен возобновить все предшествующие. А до тех пор пока я не узнаю достаточно механико-физической теории этого движения, я все физиологические выводы стану принимать просто за эмпирические и весьма недостаточные наблюдения".

В августе между прочим Ник пишет Сергею Ивановичу:

"Причина моего молчания та, что я заработался: перечел пропасть разных книг и написал пропасть разных виршей. Обуяла деятельность и продолжается -- хоть бы юноше под статью.

Ты пишешь, что тебе в Москве тошно и куда бы нибудь уехать. Да уезжай к нам, что в самом деле за привычка к Плющихе! Работать можно везде. Без дела не останешься, а с делом и без денег не останешься.

Аль у молодца крылья связаны,

Аль пути ему все заказаны?"40

Вскоре после этого он пишет Сергею Ивановичу:

"С упреком говорю, чего ты хочешь? Или науку разлюбил? Смотри -- сколько на первом шагу твоём дала тебе наука, не требуя огромных пособий. Уныние -- следствие недостойного узкого самолюбия. Проснись, страдай и трудись! Помни, что есть люди, которые тебя горячо любят и знают, что ты способен сделать.

Падать духом! достойно ли тебя!

Обстоятельства поправятся, а если и лопнут -- то белый свет велик, работы в нем много и работающих много -- когда-нибудь и без больших капиталов они будут иметь возможность работать общими силами, и каждый сказать в науке свое слово...

Ник".

"10 марта 1854 г.

...Я работаю на фабрике до утомления, голова идет кругом. Больных в деревне пропасть, устал как собака... Вчера работнику оторвало два пальца...

Что вы пишете о наших -- не может статься. Это чье-нибудь изобретение".

"28 мая 1854 г.

...Я в Корсуне на ярмарке. Ярмарка скверная. Скучно!.. гадко!.. писать не хочется. Обнимаю тебя крепко. Устал и чувствую припадок мизантропии или, скорее, нечто вроде отвращения от клопов, тараканов..."

В июле того же года Ник пишет между прочим:

"...Надобно собираться на Нижегородскую ярмарку. Как бы я желал остаться дома... От августа до сентября отдохнул бы. А едва ли это будет возможно.

Голова одурела! Заняться последовательно решительно некогда. Индустрия и управление так мне отвратительны! Ужасно хочется работать и писать... О дела! дела!.."

"1855 года, 30 октября.

Друг Сергей, я все еще не на месте, не на фабрике, а побывал даже в Пензе. На фабрику поеду, вероятно, через три дня. Письма адресуй в Саранск. Надоела мне кочующая жизнь и дела -- сами по себе неувлекательные, да и пользу едва ли принесут кому, разве ту, которую Ловецкий приписывал мышьяку. В голове нет ни одной порядочной мысли, все какое-то волнение. О чем бы ни задумал, а тебе лезет в ум: вот тут надобно расплатиться, тут оборониться, а тут учинить нападение. Скучно! да и погода такая скучная... грязно, сыро, скверно. Хорошо, когда удастся побренчать на клавире. Побренчим любимые пьесы и отдохнем, как... Но это не по твоей части... Отчасти я рад быть фабрикантом, на фабрике есть дело интересное в химико-техническом отношении. Но когда вообразу хлопоты с мастером, хлопоты с работниками, хлопоты по управлению... мороз по коже подирает. Но делать нечего! Вперед! Надо к весне многое переработать. Хорошо тоже жить, не имея нисколько времени, никакого путешествия в виду; все как-то спокойнее. Хотел писать тебе о многом, что как-то мимоходом приходило мне на ум, но теперь ничего не помню и не понимаю. Пишу прошение на гербовом листе -- и только... Я убежден, что моей глубокой симпатии к тебе и наоборот потревожить невозможно. Ну, прощай, Сергей, обнимаю тебя крепко. Пиши поскорее, Я с фабрики, как отдохну немного, так и напишу тебе.

Ник".

З

Ник не успел еще свыкнуться с мыслью об утрате дорогой ему Наташи, как в 1855 году был поражен известием о внезапной кончине Грановского⁴¹. Он писал из деревни Сергею Ивановичу о своем глубоком огорчении, а вскоре после этого сообщил ему, что Александр зовет его к себе, жену же его просит заменить его детям мать. В последнем письме Наташи к жене Ника была просьба, чтобы она поскорее приехала в случае ее смерти, заменила бы ее при детях и была бы им матерью.

Из писем Ника видно, что спустя почти год по кончине Грановского он решился ехать к Александру. Астраковы с глубокой грустью провожали их, Ник был мрачен.

-- Я что-то не надеюсь, чтобы ты возвратился в Россию, -- говорил Сергей Иванович, -- ведь это ни на что будет не похоже, если там останешься. Россия теперь нуждается в хороших, честных людях, а вы ее оставляете.

-- Нет, -- отвечал Ник, -- я ни за что не останусь за границей, я проживу там и опять вернусь на родную сторону. Может быть, от времени до времени буду навещать Александра, но жить там не могу. Я люблю Россию и все русское, на чужбине я задохнусь -- сгибну.

Прощаясь, он говорил:

-- До скорого свидания.

В первых письмах из чужих краев Ник писал, что остается там на неопределенное время, что ему глубоко жаль и родных и друзей и страшно думать, что он понемногу исчезнет у них из памяти.

Как же были поражены друзья Ника, когда прочитали в печати его отречение от России и что он эмигрировался⁴².

Сергей Иванович вышел из себя от огорчения и негодования, писал Нику жесткие письма и даже упрекал его в обмане.

Из писем Ника к нему видно, что он долго колебался, оставаться ли за границей или ехать в Россию. Наконец убедился, что только вдали от родины можно ей принести пользу; что только издалека можно раскрывать истину, обнаруживать все, что вредит счастью русского народа, и он готов жертвовать собою.

Сергей Иванович огорчался, говорил, что Ник так думает и поступает под влиянием фантазий Александра, которого страстно любит, высоко ставит и потому легко поддается на его доводы, и что Александр, надававши ему пропасть дела, хочет этим привязать его к своей деятельности.

Горько оплакивали друзья Ника, точно предчувствуя, что ему тяжело там придется и он кончит нерадостно свою жизнь на чужбине. Так и случилось.

Вскоре по приезде в чужие края Наталья Алексеевна писала Астраковым, что она едва узнала детей Александра -- так они выросли. Саша -- почти молодой человек, учится прекрасно, но еще не совсем сложился, поэтому и нельзя сказать определенно, что из него выйдет. Тата мила, но находится в том невыгодном возрасте, когда девочка еще не девушка и уже не ребенок. Учится недурно, играет на фортепьяно, поет, рисует, учитель немецкого языка читает ей историю, а сама Наталья Алексеевна занимается с нею русским и французским языками. Все они говорят по-русски, но у всех детей слышится немецкий акцент. Оленька умна, резва, шаловлива, лицом походит на отца, но Наталья Алексеевна находила в ней сходство с матерью. По-русски Оленька говорит, но читает плохо. "Исполняя волю Наташи, -- говорит в конце письма Наталья Алексеевна, -- я осталась за границей и буду стараться исполнить взятую на себя обязанность свято относительно детей ее, но не знаю, достанет ли у меня сил и решимости бросить все для них. Выкупить это может только дружба его".

Мысль оставить Россию пугала Наталью Алексеевну так же, как и мысль оставить детей.

6 октября 1856 года Ник писал из Лондона: "Друг Сергей!.. Я работаю теперь часов по восьми в день -- вот и устанешь. Становлюсь не способен ни слушать, ни говорить, ни писать. Впрочем, вообще я больше слушаю, нежели говорю. Что выйдет из моей работы -- не знаю, но голова занята, время проходит незаметно. Может, это так и надобно в жизни. Здоровье мое хорошо, голова свежа, ясна.

Погода у нас сырая и теплая. Живем мы в саду. В саду персики зреют, георгины цветут, грецкие орехи поспели, фуксии отличные. Все это хорошо, все вполне хорошо, да кажется, если бы не люди и не газеты, то и желать лучшего нельзя. Но положение безвыходное. Без людей и без газет жить нельзя, а тут-то и натыкаешься на всякую пакость. Где лучше? Где нас нет!⁴³ Давнишний стих, но страшно справедливый.

Что твой проект? Отчего не подаешь прямо великому князю? Кратчайший путь!.."

В одном из писем Натальи Алексеевны из Лондона к Татьяне Алексеевне Астраковой Ник приписал;

"Здравствуйте, Татьяна Алексеевна! Вашу "Воспитанницу" и ваши воспоминания в ней прочел 44, также и ваше письмо. Тысячу раз жму вам руку".

К этой приписке Александр прибавлял:45 "Мне приходится уже сказать прощайте, Татьяна Алексеевна, и что это вы все хмуритесь, и пишете письма нахохлившись? Неужели вы думаете, что где-нибудь лучше или кому-нибудь? Затянулся, натянулся иной раз, да и марш с песнею:

Нам ученье ничего,

Впрочем, очень тяжело.

Александр.

7 ноября (26 октября).

Лондон".

"Твое послание от 3-го живо мне напомнило и тебя, трудно уживающегося с окружающим, и это окружающее, с которым трудно ужиться; печально, а надо ужиться, если хочешь хоть на йоту быть полезным и дожить не совсем трутнем. Честь и слава Чевкину, что он просто выслушал дело и просто принял человека ему незнакомого. Я не согласен с тобой в негодовании на тех, которые тебя не приняли. Что же ты наперед не написал и не просил аудиенции? С чего ты думаешь, что занятой человек станет принимать всех и каждого вовремя и не вовремя, не зная кто и зачем? Это несправедливо, Сергей; вини тоже и собственную неловкость. Но все это уже прошедшее, а дело в настоящем. Стало быть, Чевкин уже взялся за рассмотрение проекта. Теперь жду от тебя известий, что из этого вышло. Не медли, ты знаешь, как мне дорог твой успех. Статью, мне присылай, я ее переведу и представлю в академию. Я стал и сам заниматься математикой и как скоро окончу работу, над которой теперь тружусь, то сильно займусь ею. Она меня увлекает, и потом на каждом шагу в других вещах незнание математики является препятствием; ergo {следовательно (лат.)}, надо заняться ею во что бы то ни стало. Что же ты дома не отдал на коронации внаем, а сам бы куда-нибудь в деревню съездил? Теперь платят черт знает какие цены, и ты выиграл бы порядком, даром что на Плющихе. Живем насколько возможно уединенно, сживаемся с желанием покоя.

О каких-нибудь открытиях в науке давно не слыхать; страсть к бумагомаранию совсем одолела на сию минуту. Осенью примусь читать и тогда стану сообщать, что найду интересным. У вас, слышно (пишет Н. М.), было лето холодное, а мы в Лондоне лета не видали. Пока мы на том же местожительстве. Если двинемся, то сообщу. Обнимаю крепко. Дорого бы я дал, чтоб увидеть за чубуком, служащим и тростью, твою длинношерстную голову. Оно конечно, я совершенно с Брашманом согласен, что дело хорошо, да отчасти и скверно; то есть хорошо, по совету Огарева, было бы на свете взглянуть, как где работают, ведь здесь родина машин, но скверно то, что ты сидишь, -- а вообще важен первый шаг, а потом пойдет как по маслу. Огарев не пьет ни капли, работает как вол, припадков не бывает. Я -- так себе, и вас обнимаю и сильно и крепко обоих. А голова у меня не болит от холодной воды. Целую вас.

Александр"46.

"Ну, друг Сергей, дело твое по дому, кажется, я уладил вовремя; а писать до смерти ленив. Наконец и статьи твои получил и хлопочу о проекте; но мне хочется, чтобы он имел ход на Руси. Посылать в академию пока не хочется, как не хочется, чтобы ты печатал в "Журнале путей сообщения". За что же даром отдать проект, чтобы все им воспользовались, кроме тебя. Ответ Чевкина дает мне еще более уверенности в твоём проекте и больше средств хлопотать. Климат здесь препоганый. Жары были страшные и духота до одурения. Холода пойдут -- та же духота; дожди -- та же духота; но привык. Работаю много. Поговорить с тобой страх бы хотелось. Посмотреть на тебя, руку протянуть тебе... А писать не хочется. Для того чтобы высказать все, что в голове бродит, надо быть в надлежащем настроении, а это настроение уходит на работу. Если бы я вместо письма представил тебе мою работу -- ну! много бы и сказалось. Pater noster {Отец наш (лат.)}.47 скоро тебя увидит, и можешь послушаться о нас, сколько хочешь. Проводил я его и жаль было до смерти. Глупая вещь -- разлука. Ну зачем тебя здесь нет? Ведь я знаю, что и тебе без нашего брата как-то не то. Ну! а все живет и хлопочет, я думаю, не потому, чтобы выходила польза, а потому, что не хлопотать не может.

Прощай, друг! Успех по твоему проекту меня страшно задирает. Ну! а как же ты в деревне проводил время? У меня ностальгия по русской деревне.

Ник".

"Друг Сергей! Я нашел здесь в музее статью, то есть брошюру русскую 1799 года о каменноугольных копях в России, напечатанную по высочайшему повелению в Гатчине. Копи относятся к Новгородской губернии. А боровичские копи и по химическому исследованию и по опыту в деле оказываются весьма удовлетворительны. Как это с тех пор о нем забыли? Удивительно. Здесь пошел паровой плуг с большим успехом; добиваюсь рисунка и случая видеть его. Сведения сообщу тебе.

Погода стоит здесь холодная. В комнатах дрогнешь, ибо здесь нет печей, а холода есть. Недавно был туман такой, что за два шага было не видно зажженного фонаря. Возле нас, на железной дороге, транспорт переехал двух рабочих. В Сити кареты задавили нескольких. Воры попользовались. Теперь все пришло в порядок; туманы поменьше, давят поменьше и воруют поменьше. По судам встречаются случаи, что работники убивают своих детей, нет возможности содержать разом себя и их. Приюты для бедных не принимают бедных не своего прихода, хотя бы кому пришлось провести ночь и на улице. Есть квартиры за несколько пенсов, где человек, не имеющий квартиры, нанимает место уснуть один час стоя, держась за веревочку. Вот тебе разные утешительные подробности. Пиши и присылай статью. Прилагаемое письмо отдай М. И, Полуденской48, ответ перешли мне.

Ник".

"Все замечания насчет поклонения западным тельцам и баранам совершенно верны, и я от души похотел восторгу наших, что улицы метут щетками. Беда только... думают, что политика-то с ними однокорытник... Уж от их-то... отказываюсь. Читаем здесь все русское, присылай свою механику с Y-ми, со всеми X и K и F и Z, а меня люби хотя немножко,

Александр"49.

В 1872 году мне советовали, после моей продолжительной болезни, провести зиму за границей. Осенью я поехала в Дрезден с горничной, женщиной, жившей у меня с лишком двадцать лет50. В Дрездене, по особенному случаю, я скоро нашла в первом этаже очень хорошую квартиру из трех довольно больших комнат с кухней, прекрасной мебелью и посудой, с широким светлым коридором, выходящим в небольшой садик, где цвели еще бледные розы. В помощь моей прислуге, не знавшей немецкого языка, я взяла молоденькую девушку, и мы устроились по-домашнему, тепло, уютно, тихо. Осень была ненастная, солнце редко светило, то шел проливной дождь, то сыпал снег, временами морозило. Я не выходила из своей квартиры, как будто у себя было не так грустно, не так одиноко. К зиме я ждала из Петербурга сына с его женой и грудным малюткой, чтобы вместе с ними ехать в Вену, куда сын мой был назначен для приема контрольных снарядов. Не знаю, насколько мне была полезна жизнь за границей; но знаю, что я очень тосковала по детям и глубоко чувствовала одиночество. Отрадой мне были их письма, а успокоением от сердечного гнета мои воспоминания "Из дальних лет"; писавши их, я забывала настоящее и жила слезами и радостями, воскресавшими из вечности. Дети мои приехали в Дрезден только в январе. Я ожила, слушая дорогие мне голоса, целуя крошечные ручки и ножки маленького улыбавшегося Саши,

Спустя несколько дней мы все вместе переехали в Вену, где и устроились на продолжительное житье. В начале весны дети мои уехали на месяц в Венецию. Оставшись опять одна с своими думами и воспоминаниями, я, чтобы пополнить их сколько-нибудь из жизни сороковых годов, обратилась за этим к Нику -- просила его написать мне, что можно. Из их жизни в тот период времени. Я знала, что Ник не забыл меня и не изменился. Он всегда любил меня и Вадима. После моего замужества бывал у нас почти каждый день и проводил целые часы в задушевных разговорах в нашем кабинете. По кончине Вадима я почти от всех отдалилась. У меня доставало сил жить только с одними детьми и для них. Яснее ли закат моей жизни? Я послала Нику сердечное письмо. В нем воскресало все бывшее. Ник немедленно отвечал мне. Он писал:

"Genve, Rue Conseil gnral, 2051,

Друг старый Таня!

Твое письмо меня нашло
В хандре, унылого, больного.
Да так, что даже и в тепло
Боюсь ветра я сквозного.
Но от письма вдруг на меня
Пахнуло жизнью благодатной;
Сердечный голос жизни внятной
Смягчил страдание мое.
Я даже, -- а со мною это
Так не случилось давно, --
Решился отворить окно,
Опять взглянуть на божье лето.
Все к настроенью духа шло --
И мягкий воздух и тепло,
И солнце к вечеру склоняясь,
Не зная медлить иль уйти,
Казалось, стало на пути.
Дай говорить еще, прощаясь,
Минутку лишнюю одну...
На землю мирную взгляну.
Соседний сад передо мною
Сиял зеленою листвою,
Соседней кровли скат крутой
Желтел, светясь как золотой,
Соседних окон томный глянец,
Зари мерцающий румянец --
Безмолвный праздник шел по ней,
По бедной улице моей.

Письмо твое только что получил, прошедшее воскресло, и я взялся за перо. Пишу сегодня вечером, но на почту отнесу только завтра. "Русской старины" не получал, мемуары свои спишу для тебя, делай из них что хочешь. Я был бы очень рад, если б это прошло в "Русской старине". А если нельзя, то эти мемуары все же посылаю тебе, и делай из них что хочешь. Печатай с моей подписью или без всякой подписи -- как угодно. Если б оно прошло в России, оно было бы не бесполезно для меня "that is the question" {"вот в чем вопрос" (англ. -- слова Гамлета).}. А не пройдет в печати, так сохрани для себя и для друзей.

Стихотворные мои мемуары я не посылаю, кроме небольших отрывков, многое еще надобно исправить, и я думаю, что их нельзя вполне печатать иначе, как здесь.

До свиданья, добрый друг. Больше писать сегодня не могу -- нездоровится. Доживаю до шестидесяти лет, нога сломана и припадки падучей болезни, но все еще бодр.

Твой Ник".

Спустя несколько дней я опять получила письмо от Ника и первую главу его мемуаров, -- местами перемешанных стихами. Кроме автобиографии в прозе, Ник писал свою автобиографию и в стихах⁵²; кто стихи слышал, те говорили об них с восторгом; некоторыми он дополнил свою поэму "Радаев", но в печати не помещал.

ЗАПИСКИ РУССКОГО ПОМЕЩИКА*⁵²

* Часть воспоминаний Ника напечатана в отдельном издании "Из дальних лет", в первом томе. (Прим. Т. П. Пассек.)

ДРЕВНИЕ ВРЕМЕНА

ГЛАВА I

.....за чуждые края
На родину лети, мечта моя,
И с трепетом отрады и кручины
Отыскивай знакомые картины.

Я родился в 1813 году, по крайней мере по моему возрасту это очень вероятно, стало быть, и воспоминания начинаются около двадцатых годов. Но прежде чем говорить о себе, мне хочется припомнить разные людские отношения, в разные времена, и их различные изменения.

Время около 1820 годов было странное время, время начала общественной разладицы. Она подвигалась медленно, медленно и не знала, куда придет. Большинство торжествовало победу над французами. Меньшинство начинало верить в возможность военного переворота. Крестьянство, после спасения отечества, ограбленное и забитое чиновниками и некоторыми помещиками, в страхе молчало.

Мы жили в это время в Москве в нашем большом доме -- с отцом моим и двумя бабушками, -- одна высокая ростом старушка, с важным видом, с зеленым шелковым зонтиком на глазах, была мать моей матери, умершей, когда я был совсем ребенком, другая бабушка, роста маленького, была мать моего отца. Обе они заботились обо мне и о моей сестре, которая была немного постарше меня. Одна из бабушек то и дело разъезжала по монастырям и задавала пышные обеды архиереям. В великий пост меня заставляли говеть, каждое утро и вечер молиться перед образами, стоявшими в большом киоте в моей комнате. Я усердно читал молитвы по молитвеннику, не понимая их смысла. Кроме бабушек, отец мой приходил каждый вечер в мою комнату, как только меня укладывали в постель, и молился перед киотом.

До десятилетнего моего возраста за мной ходила старая няня, повязанная на голове платком, -- она любила и баловала меня, несмотря на то что мужа ее отдали в солдаты за какой-то незначительный проступок.

Кроме няни, при мне приставлен был и дядька, чтобы забавлять меня игрушками и учить читать и писать. Дядька был лучший друг мой и игрушки делал отличные, я помню его всегда в сером фраке, скромным и простодушным.

У него был один недостаток -- иногда к вечеру он выпивал лишнюю рюмку вина, и тогда нападала на него страсть доказывать моему отцу, что он воспитывает нас не так, как следует. Иногда эти рассуждения заканчивались трагически -- отец мой выходил из терпения и удары сыпались на бедного дядьку при мне, -- я дрожал от страха и негодования.

Так как религиозное настроение мое было искусственно и безотчетно, то оно скоро и исчезло под влиянием чтения Байрона, философов XVIII века и германских писателей, чтобы впоследствии воскреснуть в жизненном, возвышенном виде...

6 апреля Ник писал мне:⁵⁴

"Genve. Rue Conseil gnral, 20.

Наконец-то пришло от тебя письмо из Вены, старый друг Таня, и пришло в день его рождения. Также

пришло сегодня письмо и от Марьи Каспаровны из Берна, с твоим адресом и с известием, что они сегодня в Цецелиумферейне, в день его рождения, поют реквием Керубини. Странное дело, не могу удержаться от нервного плача. Что же делать!

При этом письме посылаю вторую главу. Если что найдешь нужным поправить, я тебе вполне доверяю -- и примусь за третью.

С нетерпением жду твоего письма. Долгое прекращение переписки мне было бы не по сердцу -- и по старой дружбе и по возможной пользе.

Ник".

"Rue Conseil gnral, 2055.

Сегодня я получил от Саши посылку. {} Это мои старые письма к нему, а не его ко мне; но все же они настолько воскресили юность, что и работа воскреснет.

Сегодня воспоминание о нем так сильно во сне и наяву, что слезы навертываются.

Твой Ага".

Он иногда так подписывался.

При письме Ник приложил вторую, главу своих "Записок"56 и стихи {Стихи эти напечатаны в отдельном издании "Из дальних лет"! (Прим. Т. П. Пассек.)} "Памяти друга"57.

ГЛАВА II

Я стал искать себе приютСреди иных воспоминаний,Среди своих родных преданий;Явились образы -- как сон--Иных людей, иных сторон.

Оставаясь один, я любил думать о своей матери, фантазия мне рисовала ее в разных положениях; я себя воображал всегда с нею, Вероятно, по рассказам, она являлась мне всегда

Высокая, со станом стройным,

С лицом задумчиво спокойным

И с лаской в голосе

.....

Я на коленях перед ней

И, не сводя с нее очей,

Часы глядел бы, день бы целый...

Пускай не мог я понимать,

Но взоры детские искали

На кротком лике разгадать

Значенье думы и печали.

То представлял я себе ее умирающей -- и плакал, -- мне казалось, я вижу, слышу:

Смолк голос, -- сила упала,

. . . ее не стало,

Лицо, как мрамор...

Попы и пенье, свечи, гроб

.....

Душа была потрясена...

Я чувствовал, что в душе моей не прерывалась живая связь с былым.

Когда мне было лет тринадцать, старого дядьку моего отправили на житье в деревню -- на покой, а ко мне приставили, по рекомендации нашего родственника Ивана Алексеевича Яковлева, немца Зонненберга. С первого взгляда я возненавидел его. Этот немец, мой воспитатель, рябой, плешивый, носил рыжеватую накладку, на которую я не мог смотреть равнодушно. Нравственного влияния на меня он не мог иметь никакого; но был довольно опытен, чтобы развить во мне физическую силу, в которой мой организм нуждался, и я из болезненного, изнеженного мальчика вышел довольно здоровым юношей. Но отношения не сделались ближе, раз, раздраженный им, я схватил его на руки и хотел грохнуть о пол и тут же в волнении высказал ему, что его терпеть не могу, но это не помешало ему оставаться при мне в качестве воспитателя до моего шестнадцатилетнего возраста. Потом я не мог отказать ему в даровой квартире из двух комнат в нижнем этаже нашего дома у Никитских ворот, где, поступивши в университет, я жил один, а семейство наше находилось в деревне. Зонненберг, с титулом ревельского негоцианта, в квартире своей открыл магазин галантерейных вещей и проч. и продавал втридорога мне и моим товарищам бумагу, гравюры, перья, курительный табак, чубуки, сургуч и проч. Торговля ему не удалась, -- и он переселился в пустой дом к Ивану Алексеевичу в качестве его чиновника особых поручений и *souffre douleur* {козел отпущения (франц.)} его оскорбительных капризов. Так как я с домом Яковлевых был близок с детства, то Зонненберг (он часто бывал там после того, как в присутствии Яковлевых уральский казак спас его от потопления в Москве-реке), бывая у Яковлевых, свел меня с сыном Ивана Алексеевича, Александром, который был моего возраста. За это я Зонненбергу навсегда благодарен -- Александр был несравненно развитее меня, и мы с ним впоследствии сделались друзьями навсегда.

Сведя меня с Александром, Зонненберг долго мешал нашему сближению окончательно -- своим присутствием. Он совался в наши разговоры, поправлял на мне то рукава, то воротник, надоедал и, не давая осмотреться, торопился увести меня или на бульвар, или в какой-нибудь магазин за покупками, иногда за город в поле.

С разрешения Ивана Алексеевича, Зонненберг стал приглашать и Александра на наши утренние прогулки за город. Чаще всего мы ходили за Дорогомилловскую заставу и на Воробьевы горы.

Непонятной силой мы влеклись друг к другу, отвечали каждому призыву, беззаветно отдавались увлечению, не покидали избранного пути...

Около 1825 года ко мне стали ходить учителя, из которых о многих память я сохранил до моей старости, как святыню. Чувствую, что нельзя не сказать кое-что и об этом -- теперь для них это безопасно, -- впрочем, уже ни одного нет и в живых.

На первом плане мой учитель математики Волков, он учил также и Александра⁵⁸. Преподавая нам арифметику от начала и до геометрии, он в то же время сообщал нам и направление декабристов. Мы тотчас же стали ему сочувствовать.

Учителем французского языка был Кюри -- воспитатель декабриста Васильчикова. Васильчиков служил в уланах. В то время большая часть хороших людей служили в военной службе. После лучшие из людей пошли служить по статской. Придет время, что хорошие люди пойдут служить по народному выбору с определенными целями народного развития и общественного строя.

Других называть мне не хочется. Не хочется кого-нибудь обидеть, я с ними по-детски был дружен. Сказать об них мое настоящее слово не могу.

Мир праху усопших, не сделавших в жизни ни хорошего, ни худого.

"Rue Conseil gnral, 20. Genve59.

Пишу тебе, друг Таня, поздно вечером, -- день прошел в заботах, писал деловое письмо и надо было ускользнуть от ненужного свидания, что я все и сделал. Ах! нам жизнь здесь тяжела, Таня. Может, есть человека два, с которыми я встречаюсь братски, хотя и редко, а там и встретиться ни с кем не хочется. Хочется остаться одному, да и только. Поддерживает меня только моя простая, добрая Мери, начиная с перевязыванья моей ломаной ноги и до приготовления обеда.

Утро. Вчера продолжать не мог, а теперь получил твое милое письмо, где ты говоришь об отрывке из моих воспоминаний и стихах. Хорошо, если бы можно было их вклеить куда-нибудь. Третью главу продолжаю, -- все же надобно с неделю времени; я как-то ее ходом недоволен... Твоими записками, без сомнения, доволен. Два экземпляра "Русской старины" получил. Один оставил у себя -- другой отдал одному другу.

Крепко жму твою добрую руку, твой Ник".

"31 августа, воскресенье.Genve60.

Спешу сказать тебе, старый друг, несколько слов, -- я тебе писал на днях, но моя Мери полагает, что я писал тебе какой-нибудь вздор, потому что в то время у меня был припадок, и Мери, как обычно, привела меня в чувство и нашла у меня в руках твое старое письмо, на которое я, вероятно, и отвечал в полусознательном состоянии.

Свои записки сообразил как продолжать и кое-какие стихи вместил. Все Пришлю. Наташа еще в кантоне Graubnden, с ней Тата и Лиза, -- разумеется, также сын и дочь Сатина. Сатин и жена его умерли. Дети оба в чахотке. Ольга с мужем в Гаере. Дети Александра очень благосклонны ко мне и помогают мне делом, то есть деньгами, в которых, при перемещении на другую квартиру, нужда страшная.

Хорошо если бы мне удалось печататься в "Вестнике Европы". Я бы счел это делом. Про себя писать становится невозможно, -- то есть утомительно, бесплодно. Тут бы я воскрес...

Твой старый Ага.

В июльском No "Дела" прочти статью о тенденциозном романе "Заволжье" и биографии Пушкина. Замечательно".

Genve. Rue Conseil gnral, 2061.

Отвечай мне немедленно, все ли ты еще в Вене. Я тебе, Таня, тотчас пришлю что следует -- и новые книги, и рукопись, и письма. Обо мне не хлопочи у князя, -- я возвращаться не хочу.

Дружески обнимаю. Ник".

Вскоре я получила третью главу записок Ника.

ГЛАВА III62

Так в полдень душный, в вечер мгlistыйОтрадно вспомнить про рассвет,Про утро с свежую улыбкой,Про теплый солнечный привет.

В то время как я готовился поступить в университет и в начале моего поступления, отец мой и сестра с гувернанткой жили в Москве, кроме их, в доме нашем жила у нас молоденькая девушка М. П. Наумова, родственница моего отца. Я любил смотреть на ее милое, кроткое лицо, слушать ее игру на фортепьяно, и забывал весь мир, когда вечером она пела своим прекрасным симпатичным голосом арии из итальянских опер, и еще глубже наслаждался, слушая романсы или простую народную песню.

Сестра вскоре вышла замуж, но с мужем жила у нас. Отец был часто болен, и мы с М. оставались большей частью одни. Это нас сблизило самой теплой дружбой. Лето мы все провели в деревне,

Я вспоминал про утро мая,
Прогулку раннюю свершая,
В саду в деревне... Вместе с ней
Мы шли под сению ветвей...
Как солнце весело вставало
И блеском розовым сияло
И как светла была вода
Спокойно гладкого пруда,
В студеной влаге отражая
И вглубь отрадно погружая
Верхи деревьев и кустов.
Как нежно свежестью листов
Густая зелень чуть шептала,
Роса блестела и дрожала...
И в сердце что за полнота!
Любовь просилась на уста.
И пролетел, как бы украдкой,
Влюбленной речи ропот сладкий.

Мы все больше и больше сближались. Как это делалось, передать нельзя. Ей, отдаленной от родного дома, согревало душу мое сочувствие; я, часто недовольный собою, усталый, приходил к ней, и душа оттаивала под ее кротким взором, под ее песней. С ней я говорил о моем друге и о наших целях, и тягость слетала с души.

Сверх всего, взаимная наша привязанность наполняла нам пустоту и давящее однообразие нашего дома, сложившегося под развитием предрассудков и обычаев старины, которые теперь, я думаю,, нельзя встретить во всей солнечной системе. Истекавшая из этого образа жизни тоска тяготела надо всем. Молчание и строгая чинность в гостиной прерывались время от времени монотонным рассказом старухи приживалки, счетом клеточек канвы, шуршаньем берлинской шерсти. Молча сидели лакеи в передней, молча -- горничные в девичьей. В этой атмосфере человек мог задохнуться, как в колодце. В ней развивался эгоизм личный и семейный -- до тирании: все воли сосредоточивались на одной воле; все желания, вся жизнь других на одном желании, на одной жизни. Все это вызывало во мне сильное противодействие и отрывало от этого удушающего мира.

Спустя несколько времени по возвращении нашем из деревни в один день приехала к нам мать М. Она была взволнована и прошла прямо в спальную к моему отцу. Отец был сильно болен и лежал в постели. Часа через два она вышла от него расплаканная и увезла от нас М, Я был поражен, огорчен, так это сделалось неожиданно. Впоследствии я узнал причину ее удаления. Не стану и нет права говорить об этом. Я часто навещал М., и до конца ее печальной жизни остался ее другом. В последний раз я видел ее по возвращении моем из чужих краев. Она была замужем и умирала в чахотке. Это свидание вызвало у меня стихотворение:

К подъезду! -- сильно я звонок рванул,
Что, дома? -- быстро я вбежал наверх.

.....

.....

В углу сидит на креслах кто-то,
В подушки утонув. Смотрю -- не верю!
Она -- вот эта тень полуживая?
А есть еще прекрасные черты!
Она мне тихо машет: подойдите!
Садитесь! рада я вам, старый друг!

.....

.....Сердце сжалось у меня.

Ник высылал мне свои записки по одному и по два больших почтовых листков в письмах. Иногда приходилось напоминать ему, В одном письме я звала его к нам. Он отвечал:

"Genve63.

Письму твоему, друг Таня, я был очень рад, и жду скоро известия, приехал ли Володя и когда мы с тобой, последние двое того времени, увидимся. Мне путешествовать не приходится -- нога надломленная и эпилепсия не допустят до путешествия.

Если сюда не вдруг еще приедете, напишите мне что-нибудь о путешествии Ипполита.

Пишу завтра Марье Каспаровне.

Сегодня мне пришел на память прежний друг Носков, не могу отделаться от воспоминания его дружеского образа и преданной дружбы. Напиши мне, если знаешь, -- жив он или нет.

Записки стану продолжать через три дня, боюсь ошибиться, точно я не довольно сообразил.

Я рад, что скоро перееду на тихую квартиру; здесь уличный шум совершенно кружит голову. Кроме всех шумов, кто-то напротив, не шутя, учится на флейте.

Твой Ник".

Спустя недели две я получила от Ника вместе с двумя листочками записок следующее письмо:64

"Посылаю тебе, старый друг, продолжение записок; выслать раньше не мог. Разные обстоятельства наводят на сердце грусть, а молитвы чудные твердить не способен.

Зной страшный. Окна отворить нельзя -- душно. А на улице детский шум, совсем из терпения выводят.

Ник".

ГЛАВА IV65

Я вступил в университет в одно время с Александром. Он -- действительным студентом, я -- вольным слушателем. В аудитории я почувствовал себя дома -- на родине. Воспоминание об этом времени оставляет слезу, точно по усопшем друге.

Knabenstunde {времена детства (нем.)}, куда вы унеслись!

Вспомнить, рассказать все, что и как тогда было, едва ли можно. Нет, чувствую -- нельзя. Рамкой науки в юной жизни были: школьные радости и школьные неудачи, оппозиции или орации профессорам, завтраки у Матерна, сабайон у кондитера Пера, карцер, пиры идей, пиры дружбы -- все это в дыму трубок то у меня на Никитской, то у Вадима в мезонине, в комнатке с полукруглым окном; середина дивана провалилась до пола, у стульев подломаны ножки, -- ничего! сюртуки долой! -- везде хорошо, подоконник-то на что? подушки на пол!

Беседы вдвоем с Александром рисуются отчетливей. Вот его кабинет с одним окном, в бельэтаже дома, похожего на фабрику; но как роскошно поднялся до самого окна душистый тополь! И как это он так скоро вырос! На моей памяти едва доставал до окон нижнего этажа. Сумерки. Мы сидим на диване, только что кончили читать и еще находимся под влиянием тех личностей, наитием которых вызвано наше духовное родство. Тишина. В раскрытое окно сквозь легкие ветки тополя светит звездочка.

Как я любил и эту звездочку, и эту комнатку, и этот дом, похожий на фабрику. Иван Алексеевич купил рядом еще дом и перебрался в него. Старый дом заперли. Потом поселили, в нижнем этаже, бесприютного Зонненберга. Я пришел к Зонненбергу -- попросил отпереть верхние комнаты. Их открыли.

Старый дом, старый друг, посетил я

Наконец в запустенье тебя,

И бывшее опять воскресил я,

И печально смотрел на тебя.

.....

Я вошел.

.....

Вот и комнатка: с другом, бывало,

Здесь мы жили умом и душой,

Много дум золотых возникало

В этой комнатке прежней порой...

В нее звездочка тихо светила...66

В этой комнате было и счастье бывшее, и светлая дружба в ней же выросла. И велико было тут наше сочувствие друг с другом, с творцом и с человечеством.

Где это время? где оно?

...И вы, друзья общины школьной,

Товарищи весны привольной,

Делившие между собой

Порывы жизни молодой,

И первый пыл негодованья,

И робкой мысли начинанье,

Восторги, скорбь, надежды, труд

И прелесть искренних минут!

Все разбрелись куда попало,

Их жизнь по свету разметала...

Блаженны те, кого уж нет,

Кто в гроб сошел во цвете лет

Без грязных пятен; сердца жара

Не затушил в чаду угара67.

В половине университетского курса мы дошли до важного переворота. В нас стали возникать иные вопросы, сомнения, отрицания -- иные верования, и рождалась необходимость определенной деятельности.

Александр сказал мне: ты поэт.

Я избрал себе литературную деятельность. С тех пор жизнь моя получила смысл, занятие, направление.

"Chemin Villereuse, 16. Genève68.

Вчера послал тебе книгу, друг мой: о получении извести немедленно. Выписываю тебе три мои стихотворения. Через несколько дней пришлю и больше. Имя подпиши какое хочешь; мне никакое в голову не приходит. Записки пойдут быстро. Ответа о моей переписке с Герценом жду на днях. Все, что у меня есть, для отчизны невозможно; или семейные или товарищеские разногласия. Схожу на почту и опять примусь за работу.

Квартирой новой доволен. Покойно и вид на озеро и горы.

Что Воля и Леля будут осматривать в Париже? Я давно не запомню такого скверного Парижа, это не лучше третьего императора. И везде плохо. Тоска берет. Напиши мне скорей о себе, о Воле и Леле.

Мери, Генри жмут тебе руку.

Твой Ник".

"Chemin Villereuse, 1669.

Милый мой старый друг Таня! Спасибо тебе за твое милое, доброе письмо! Я давно собираюсь писать тебе и не мог собраться, долею по нездоровью, долею по неприятностям. Перечитываю переписку. Из этой переписки ничего нельзя послать. Кроме дел семейных и разладов товарищеских, ничего не найдешь, а из этого теперь ничего нельзя печатать.

Вот тебе стихи из моей биографии:

Пусть тьма ночная тихо бродит,
Метель тоскливо песнь заводит,
Я чувствую, что сохранил
Упорство воли, бодрость сил,
И много в жизни шумнокрылой
Прошло и мыслей, и страстей,
Ошибок, слабостей, скорбен,
Падений горьких, взмахов силы,
И все ж еще на зло судьбе
Не утомился я в борьбе.

Мери благодарит тебя за дружбу, которую сама имеет к тебе, и обнимает тебя. Генри надеется получить место (это только между нами) и шлет тебе дружеский *shakehand* {рукопожатие (англ.)}.

Твой Ага".

Два последние письма Ника я получила в Швейцарии.

В 1873 году мы жили в Вене, где летом умер наш маленький Саша. Мы уехали отдохнуть в Швейцарию. В Интерлакене нас ждал Ипполит. Там мы прожили около месяца, -- звали к нам Ника, он отвечал, что рад бы был пожить с нами и у нас, но с своим расстроенным здоровьем и переломленной ногой, которую каждый вечер перебинтовывают, боится пуститься в путь, -- и просил нас приехать к нему.

В последний раз перед тем я виделась с Ником в Лондоне и не ждала еще когда-нибудь увидаться. В первых числах августа 1861 года поехала я с сыном моим Владимиром в Англию, чтобы видеться с Александром по собственному моему делу. Александр знал это и ждал нас. Вечером мы сели на пароход в Булони. Этого переезда я никогда не забуду.

Ночь была бурная и такая темная, что света божьего было не видно. Ветер бушевал, море страшно волновалось, качка была жестокая. Все пассажиры страдали морской болезнью. Я доходила до галлюцинаций, мне представлялись то наши комнаты в Париже, то родная сторона, слышался шум рожи, песня вдалеке... песня русская...

Рано утром я опомнилась, чувствовала себя свежее, но приподняться не смела. В дверь каюты тихо постучали. Это был Володя. Он спросил, можно ли войти. Войдите, отвечали ему.

-- Что ты не встаешь? -- сказал он мне, входя в каюту. -- Утро дивное, качки будто не бывало, море тихо как зеркало. Мы входим в Темзу.

-- Боюсь приподняться, -- отвечала я. -- Думаю, не устою на ногах. Я измучилась.

-- Полно, мама, -- возразил он, -- выйдешь на воздух, все пройдет.

Спустившись с койки, к удивлению своему я могла не только что стоять, но и довольно твердо ходила.

Одевшись и умывшись, я вышла на палубу и увидела себя среди лазурного пространства. Голубое небо слилось в одно с голубой водой.

Вдруг из этой глубины брызнули огненные лучи, море вспыхнуло, и солнце тихо поднялось. Нам принесли на палубу чай с вином и лимонами. Свежий утренний воздух и горячий чай совсем восстановили силы.

Спустя немного времени легкая темная черточка точно разрезала небо с морем и образовала горизонт. "Англия!" -- сказал капитан парохода. Темная черточка увеличивалась, превращалась в цветущие берега, в сельские виды, открылись берега по другую сторону реки, пошли громадные здания, лес кораблей и пароходов -- и раскинулся необъятный Лондон. Мы остановились в Реджент-стрите в меблированных комнатах. На другой день Володя поехал на квартиру Александра. Служивший у него старый гарибальдиец сказал ему, что Александр с семейством на даче в Торквее, а Ник на охоте. Ник возвратился с охоты через три дня; узнавши, что мы в Лондоне, он тотчас пришел к нам. Я нашла в нем мало перемены -- он был только грустнее и как-то сосредоточеннее в самом себе. Ник сказал нам, что с Александром живут на даче: Тата, Оленька и его жена с двухлетней дочерью Лизой. Говорил, что Александр писал ему о нашем приезде и зовет нас к себе в Торквей. Решено было ехать к Александру через два дня, а эти два дня провести с Ником. Ник звал нас к себе вечером. Мы нашли у него человек шесть его знакомых, которых он мне и представил. Оказалось, что все они меня знают по слуху и рады меня видеть. Ник, по-прежнему усевшись в кресло, уединился в уголок и больше слушал, нежели говорил. Разговор шел оживленный, я почти не принимала в нем участия -- интересы разговора мне были чужды.

Дружественнее всех ко мне отнесся В. И. Кельсиев. Он сел подле меня, рассказывал о их жизни в Лондоне и сквозь слезы о своей собственной жизни. Я слушала его с участием. Мы уехали домой поздно, после довольно роскошного ужина. На другой день Ник, Кельсиев и два самых близких приятеля Ника пили у нас вечером чай.

Через два дня Ник проводил меня на железную дорогу. Возвратившись из Торквея, мы пробыли еще несколько дней в Лондоне и уехали в Париж 70.

Прощаясь с Ником на английском пароходе, мы не надеялись еще увидаться. С того времени прошло десять лет, и мы опять вблизи друг от друга, и он опять ждет нас к себе. Но как все изменилось! -- все, для чего и для кого он жил, жертвовал собою, любил -- все покинуло его. Он один, он одинок и беден; в средствах жизни зависит от детей Александра. При нем добрая, пожилая вдова, англичанка Мери, преданная, но не развитая. Она бережет его, нянчит, бинтует ему ногу, варит обед и кофей и порой

удерживает от лишней рюмки вина, которую бедный Ник иногда, украдкой от нее, ко вреду себе добывает.

Я писала Нику, что приеду к нему, как скоро Володя с женой будут в Интерлакене, -- они прежде приезда в Интерлакен были еще в других частях Швейцарии. Мы с Ипполитом все им приготовили в "Htel des Alpes", где и сами находились и их ждали.

Ник писал мне:

"Genve, суббота71.

Письму твоему, старый друг Таня, я был сильно рад и жду скоро другого письма, в котором увижу, приехали ли Володя и Леля и скоро ли мы с тобой, "последние двое того времени", увидимся.

Не знаю, посылал ли я тебе прилагаемую мою статейку. Она мне сегодня подвернулась под руку и на всякий случай посылаю.

Хочется писать тебе больше. Устаю, не пишется, да и только. Крепко обнимаю тебя, друг старый.

Твой Ник".

Спустя несколько дней по приезде моих детей в Интерлакен я отправилась к Нику, но прежде заехала в Берн, повидаться с Машей Рейхель {Марья Каспаровна Рейхель, урожденная Эри, приехала за границу вместе с семейством Александра и вышла замуж за профессора музыки и директора консерватории в Берне. (Прим. Т. П. Пассек.)}. Маша ждала меня, встретила в Берне на железной дороге и увезла в свое маленькое имение, находившееся недалеко от города. В небольшом домике Рейхелей, в их рощице, широкой аллее, в цветнике и огороде -- везде и на всем лежала печать теплой семейной жизни, простоты, образования, трудолюбия. Вечером Рейхель, известный профессор музыки, играл превосходно на фортепьяно, а сыновья его аккомпанировали на скрипке и виолончели. Ужинали в тенистой беседке при свете лампы и луны.

Я провела у Маши два дня.

Мы с ней часы сидели в аллее, под густыми деревьями -- ив виду раскинувшегося перед нами Берна, ограниченного величественным Оберландом, вспоминали прошедшее и думали о настоящем. Маша с сочувствием вспоминала о России и раскрыла мне всю жизнь, проведенную ими с отъезда из Москвы. Сколько утрат! сколько ошибок и слез! Об Александре она вспоминала с чувством глубокой дружбы и уважения к его великому таланту и его сердечной доброте. Он был так добродушен, говорила Маша, и так детски простосердечен, что во всех видел больше хорошее, то есть отражение самого себя, за то всегда и попадался. Между прочим, она прочитала мне одну довольно большую статью, написанную Александром в самое тяжелое время его жизни72.

Он оставил эту статью Маше на сохранение, намереваясь со временем издать ее в свет. Эта статья -- акт, который бросает оправдательный свет на то, что составляло счастье его жизни. Едва ли когда-нибудь она будет напечатана.

Я с чувством простилась с почтенным семейством Рейхелей и уехала в Женеву, куда должны были приехать и мои дети.

Я приехала в Женеву утром73. Когда вошла в комнату Ника, он сидел задумавшись в креслах, увидав меня хотел встать, но снова опустился и залился слезами. Обняв меня, он, рыдая, вполголоса сказал: "Ты знаешь нашу несчастную историю? Что мне оставалось делать, когда они пришли ко мне?"74 (Видно, эта история глубоко и больно запала ему в душу.) -- "Оставим это, Ник, -- ответила ему я. -- Я так рада, что тебя вижу, -- у нас многое найдется, о чем поговорить".

Мало-помалу Ник успокоился. Я нашла, что он состарился и очень опустился; но прежняя магнитность и кротость, даже что-то юное, еще сохранились в его прекрасных глазах. Здоровье его видимо было расстроено.

Вскоре прибежали к нам простодушная Мери и юноша Генри. На лицах их сияла радость, как бы при свидании с старым другом. Тотчас раскрыли двери балкона, придвинули к нему стол с чистой скатертью,

явился кофей, сливки, хлеб. Мери заботливо хлопотала и, добродушно улыбаясь, бросала на меня ласковые взоры.

-- У меня находится, -- начал своим обычно робким голосом Ник, -- один молодой человек из Франции, я давно знаю его родителей -- люди почтенные и очень богатые. На днях будет здесь его отец, и они поедут в Америку. Позволишь ли, Таня, войти сюда этому юноше?

-- Помилуй, Ник, -- отвечала я, -- тут и вопроса быть не может, он у тебя -- и довольно. Зови его.

Вошел молодой человек -- стройный, красивый, веселый, и после первых приветствий принялся усердно хлопотать с Мери около завтрака.

Квартира Ника была в бельэтаже, -- с балкона виднелось Женевское озеро. Она состояла из большой гостиной, которая была вместе кабинет и спальная; тут же стояло хорошее роялино, отрада Ника. Из гостиной одна дверь вела в комнату Генри, другая в столовую, а за столовой была очень чистая кухня -- царство Мери. Там я всегда находила ее чрезвычайно озабоченной. Подвязанная белым фартуком, она то кипятила кофей и сливки, то чистила зелень, рубила мясо, -- и нередко Генри и француз помогали ей усердно толочь и молоть. Молодой человек -- не помню его имя и фамилию -- был очень образован и рассказывал много интересного о Франции.

На другой день приехали к Нику мои дети, пробыли у него несколько часов и отправились в Италию на Комское озеро, в виллу Сербильони, куда и мы с Ипполитом должны были к ним приехать.

Я подарила Нику стихотворения Некрасова. Читая "Русские женщины", он, немного затрудняясь, сказал: "Хотя у меня на душе многое против автора, но это прекрасно"⁷⁵.

Я провела у Ника двое суток. В это время он, зная, что я пишу мои воспоминания "Из дальних лет", дал мне для пополнения их несколько писем Саши, писанных к нему в продолжение двух последних лет его жизни⁷⁶. Эти два года Ник жил в Женеве, а Саша с семейством переезжал из места в место. Из этих интересных писем ясно видны их политические и общественные взгляды, их отношения к разным лицам и особенно их семейный быт. Видно также, что скитальческая жизнь начинала утомлять Сашу, -- что он мечтает о кабинете, о домашнем тихом уголке. "Я ужасно люблю тишину, -- пишет он в одном письме. -- Я счастлив в деревне. Устаю от шума, от людей, от слухов, от невозможности сосредоточиться; устаю от неестественности этой жизни".

Последний день мы провели почти совсем одни. Ник много говорил мне о их жизни за границей, -- о своей любви к России и как страстно хотелось бы ему еще раз услышать шум родной дубравы, подышать запахом широких полей, слышать вокруг себя русскую речь.

-- Я думаю, Ник, если постараться и попросить лиц влиятельных, то, конечно, разрешат тебе жить в России. Поживешь в родной деревне, -- вся твоя юность воскреснет перед тобой, воскреснет и вдохновение, и опять польются с твоего пера прелестные стихотворения. Ведь ты наш поэт, наш русский поэт.

Ник слушал меня сквозь слезы, глубоко вздохнул и сказал:

-- Нет, старый друг, не говори обо мне с высшими, и его слова "не проси" -- мне умереть на чужбине. Здесь не останусь ни за что, надоело; Яркий здешний свет мне вреден для глаз. Тата предлагает переселиться во Флоренцию или в Париж, В Италии тепло и свет мне невыносимы; да и язык итальянский я позабыл. Французский народ мне надоел, жду шамборства⁷⁷. Конечно, к Тате заеду. Мне одно остается, уехать в Лондон. Более холодный климат необходим для моего здоровья.

-- Ты много сам расстраиваешь свое здоровье, -- сказала я грустно.

-- От тоски и от нечего делать, -- отвечал он.

Пока я еще говорила Нику, он сидел подле своего письменного стола, опустил голову на руку, облокотившись ею на стол, а правой рукой молча писал на лоскутке бумаги; когда я перестала говорить, он подал мне эту бумажку, на ней были написаны нерадостные стихи:

Напиваясь влагой кроткой,

Напиваясь вином,
Напиваясь просто водкой --
Шел я жизненным путем...
И сломал себе я ногу --
И, хромающий поэт,
Все же дожил понемногу
До шестидесяти лет...78

-- Ник, неужели только?!

-- Только, друг Таня. Жить мне, может, недолго, -- сказал Ник, -- а сделать что-нибудь дельное, полезное, хотелось бы еще; да едва ли что сделаю, ты знаешь, я безобразнейший из смертных.

-- Работа спасет тебя. Продолжай свои записки. Они могут быть чем дальше, тем интереснее, по событиям и людям, среди которых прошла твоя дальнейшая жизнь.

-- Едва ли буду в состоянии, -- отвечал он печально. Вечером Ник, после оживленного разговора, сел за фортепьяно...

-- В звуках музыки я все забываю, исчезаю в гармонии. Тата платит за роялино -- напрокат берем. -- Сказавши это, Ник взял несколько роскошных аккордов.

-- Знаешь, Таня, я долго не проживу, и на что моя жизнь? Души моей я никогда не мог выразить, и не выразил никогда ни в музыкальных звуках, ни в словах. Верь, все, что я писал, все это не то, что я чувствовал. Я бывал счастлив, когда высказывалась хотя часть того, что глубоко таилось в моей душе, Глубокие чувства подавляют. Когда пишу или когда играю на фортепьяно -- я забываю все. А зачем это? живешь, страдаешь, да -- страдаешь.

И сильные, дико гармоничные звуки полились из фортепьяно. Оригинальные мелодии переплетались, сливались в одно дивное созвучие, дробились и, наконец, перешли в тихие трогательные тоны, на мотив: "Я жду тебя, когда зефир игривый листочки роз в час утра шевелит". Я и не заметила, как лицо мое было облито слезами.

-- Это музыка моего бедного приятеля Алябьева79, -- сказал Ник, кончая прерывающимися аккордами, встал и подошел ко мне. Во взоре его выразилось, что он еще витает мыслями где-то в другом месте, но не тут.

На мое письмо из Италии Ник отвечал мне уже в Вену.

"Genve. Rue du Conseil gnral, 2080.

Спасибо тебе за твое доброе, милое письмо, друг мой Таня! Твоя дружба ко мне и к моей старой Мери и к моему Генри меня трогает до глубины души. Я твое письмо перечитывал несколько раз со слезами на глазах. Действительных друзей у меня осталось только двое: ты да Мери.

Ник".

Ипполит между тем ждал меня в Интерлакене. Спустя дня два по моем возвращении из Женевы мы уже ехали через Сен-Готард в Италию. В Швейцарии меня поражало преобладание природы. За ее красотами и величием забывались развалины мрачных средневековых замков, видневшихся на вершинах отвесных утесов; забывались живописные города и селения в мирных долинах среди гор, покрытых вечным снегом, с морями льдов, со скалами, упирающимися в небо, с потоками вод, низвергающимися в бездны.

Мы поднимались на Готард в ясную ночь. Кругом скалы, пропасти, водопады, Рейн шумит и рвется через громады камней. С каждым шагом виды меняются, то край пропасти, то арки скал; на последних ступенях

гор, между серыми разорванными вершинами расстилается безмолвная снежная пустыня, под лучами месяца снег сияет алмазами, полуобнаженные сосны отбрасывают резкие тени. На Сен-Готарде в гостинице мы отдохнули и стали спускаться к Италии. Новые цепи гор открывались одни за другими; на высотах адели альпийские розы. Чем ниже, тем виды спокойнее; тот же Рейн мирно журчит по камушкам, еще ниже ручейком бежит по долине; среди групп каштанов, кленов и тополей кроются селенья. Чем ниже, тем природа роскошней; вот повеяло теплой влагою, и перед нами Лаго Маджиоре, голубое, неподвижное, обрамленное восхитительными виллами, потонувшими в группах азалий, мирт, роз, наших оранжерейных растений; виноградные лозы окаймляют дороги, грациозно мешаются с пышными кустами цветов, выются по частоколам палисадников, то свешиваются с них, то поднимаются на балконы до третьих этажей и ниспадают с них грациозными гирляндами.

Что за утро алело над озером! Что за темно-голубое небо обнимало его! Что за ароматный воздух! Дышалось счастьем бытия.

Через два дня мы были на вилле Сербильони, где нас ждали Володя и Леля и на широкой террасе приготовили нам чай и ужин; кругом цвела, зеленела тропическая растительность; солнце скрылось, и быстро наступала ночь, ночь прохладная и до того тихая, что когда подали на террасу свечи, то огонь горел не шелохнувшись. Как было хорошо нам всем вместе! Какое тихое довольство на душе. В ту пору в Италии только и можно было ночью жить, чувствовать и понимать красоту окружавшего мира. Днем палящий жар томил до изнеможения. Из комнат, которые мы занимали, выходил балкон на два лежащие в горах озера Комо и Леко. Что за ночи проводили мы на этом балконе! По зеркальной воде, озаренной луною, скользили легкие лодочки рыбаков, на иных лодках блестел, как звездочка, огонек.

Вблизи слышался легкий всплеск весла, издали иногда доносилась песня. Днем лучше всего было спать, опустивши на окна темно-зеленые жалюзи.

Через две недели мы были в Вене, а через полгода на берегу Черного моря в Одессе. Весной Володя отправился в командировку, с ним уехала и Леля. Меня Ипполит звал в Яссы, где он был в то время секретарем нашего консульства. Езды до Ясс меньше суток, я решила на эту поездку и не пожалела.

Часть лета, проведенная мною в Яссах, оставила одно из светлых воспоминаний в моей жизни.

В Яссах я получила несколько писем от Ника. В июне он писал мне:

"Genve81.

Наконец вчера пришло от тебя письмо, друг мой Таня. Я к тебе давно не писал не только по лени, но боялся, что письмо мое не застанет тебя там, куда его адресую. Мне кажется, что ты все путешествуешь. Пиши мне на имя m-me Jaillet, chemin Villereuse, No 16. Адрес Генри прилагаю... Отправляясь на юг, вероятно, вы только проедете это место; если можно, заезжайте к нему, осведомьтесь, не нужно ли ему что и как идет его житье; это будет истинно дружеское одолжение. Он славный юноша.

Ты, кажется, славянофильствуешь, старый друг? Я не славянофильствую и не европействую. Все порядком опротивело. Остаюсь почти один. (Кроме Мери -- да ты вдали.) Даже последний приятель Озеров уехал лечиться от расширения сердца. А мне уже шестьдесят лет.

"Записки помещика" продолжаю, чтобы их напечатать, хотя первую главу, -- силы воскреснут.

Твой Ник.

У нас гроза. Спешу отправить письмо и идти подышать чистым воздухом".

"Genve, суббота. Вчера я послал тебе книгу, о получении известии немедленно. Вот тебе три стихотворения:82

I

ПАМЯТИ ДРУГА

Друг детства, юности и старческих годов,
Ты умер вдалеке, уныло на чужбине!
Не я тебе сказал последних, верных слов,
Не я пожал руки в безвыходной кручине.
Да! Сердце лопнуло!.. быть может, даже нам
Иначе кончить бы почти что невозможно,
Так многое прошло по тощим суетам,
Успех был невелик, а жизнь прошла тревожно.
Но я не сетую за строгие дела,
Мне только силы жаль, где не достигли цели.
Иначе бы борьба победою была
И мы бы преданно надолго уцелели.

II

РАЗДУМЬЕ

Тихая могила
От начала века --
Схоронила много
Жизней человека.

.....
.....
.....
.....

Цели жизней новых
Видны в тусклой дали,
Мудрецы людские
Их не разгадали.

III

СТАРОСТЬ

Состарился, а целей хоть и много,
Но мудрена к ним длинная дорога,
Добьешься ли хоть до чего-нибудь?
Иль в реку броситься и утонуть?
Вопрос решается по воле рока;
Но утону иль доживу до срока,

Все ж смерть сама утечи не сулит,
А жизнь-то как тревожит и казнит!

Ник",

В этих почти последних стихах его слышатся грустные, безотрадные ноты и талант видимо ослабел.

"12 августа, среда. Genve. Chemin Villereuse, 1683.

Давно собираюсь писать тебе, старый добрый друг Таня, и не мог собраться -- долею по нездоровью, долею по неприятностям; но об этом в другой раз и из другой страны. Я переезжаю в Англию. Здесь оставаться невозможно по многим причинам, даже по свету и по климату.

Сверх всего, женевское правительство прислало эмигрантам предписание выехать из Швейцарии. Как тебе это понравится? Если бы даже такое предписание и не состоялось, то я после этого оставаться здесь не хочу. По всему этому в начале сентября переезжаю в Англию. В Англии меня не прижмут. Оттуда напишу тебе все подробно, только пришли мне хороший адрес сюда и скоро. Обо всем могу написать только оттуда, чтобы все было достоверно. Благодарю тебя за дружбу к моей простой Мери, действительно, я с ней проживу несколько лет больше. Вот все, что могу сказать теперь. Зной страшный -- окна отворить нельзя, -- душно, а на улице шум. Мери и я тебя обнимаем.

Твой старый друг Ник".

Это было последнее письмо ко мне от Ника. Он уехал в Англию, как я слышала, и переписка наша прекратилась.

Недавно получила я семь неизданных стихотворений Ника; прочитав мои воспоминания о нем, их прислали с тем, чтобы я и их поместила среди моих записок⁸⁴. Читая эти стихотворения, силою ли моего воображения, кротким ли веянием восстававших образов, передо мною воскресал этот период жизни Ника, -- и я невольно стала разъяснять его себе.

ИЗ АЛЬБОМА Е***

I

Я поздно лег, усталый и больной,
Тревожимый моей печальной жизнью;
Но тихо сон сомкнул мои глаза...
И вот внезапно я себя увидел
Среди ее семьи. Кругом стола
Мы все в большой сидели зале,
Она сидела близ меня. Невольно
Встречались наши взоры; трепетно
Касались друг друга наши руки.
Семья ее смотрела на меня
С учтивостью какою-то холодной.

Потом все уходили понемногу,
Я наконец остался с ней один.
И нежно мы глядели друг на друга,
Склонясь ко мне головкою, она
Сказала, что давно меня уж любит...
Я чувствовал, как по щеке моей
Скользит ее развитый мягкий локон,
Уста коснулись уст, мы обнялись
И плакали, блаженствуя в лобзанье.
Потом опять мы оба чинно сели,
Пришли ее родные и на нас
Смотрели косо. Но что мог значить нам
Их скрытый гнев? Мы так глубоко жили
Всей бесконечной полнотой любви...
Проснулся я, и верить сну хотелось,
И рад я был, как глупое дитя,
И знал, что это невозможно...

1185

Вдали от вас я только тем живу,
Что брежу вами в снах и наяву.
Что вокруг меня, того как будто нет --
Все призраки; действительность -- мой бред,
И в меня все вы перед глазами,
И долго, долго я люблюсь вами.

Мне кажется -- наедине со мной
Сидите тихо вы, рука с рукой,
И так глубоко любите меня.
И мягкий локон ваш целую я,
И нежно ваши сладостные взоры
Ведут со мной немые разговоры.

Улыбка ваша, ваш спокойный лик!
Я забываюсь, созерцая их.
Тут мир блаженства, и я в нем
Тону душой как в небе голубом,

Живу и гасну в этом сновиденье
И думать страшно мне о пробужденье.

А вы меня забыли!.. Что я вам!
Вы не любили никогда меня...
Любили, может быть, как всех других
За то, что я учтив, не глуп и тих,
Что с детства знали вы меня такого,
Что зла я вам не сделал никакого.

Быть может, вы теперь в стране родной
Окружены поклонников толпой;
Вам с ними весело, и вы, шутя,
Смеетесь с ними, резвы, как дитя...
Вам мил один из них, быть может...
И ревность робкая меня тревожит.

Я вечера того забыть не мог,
Когда прижавшись молча в уголок,
Смотрел я, как, не отходя от вас,
Занятый разговором длинный час
Стоял прекрасный юноша пред вами
С блестящими, орлиными очами.

Как в этот раз вы были хороши!
А я, бессмысленный! -- внутри души
Я ревность дикую едва таил
И сам себе тогда смешон я был!
Я ревновал, меж тем как не желаю
Сказать вам, как люблю и как страдаю.

А помните, как амазонкою вы смелой,
Летели на коне... Я возле вас...
Зеленый ваш вуаль поржал вокруг шляпки белой...
Но вот испуганный ваш конь, остановясь,
Вдруг ринулся назад. За вами поскакал я
И бледен был как смерть, и в страхе весь дрожал я.

Вы тут любовь мою невольню увидали
И в этот вечер стали вы со мной нежней,
И как-то ласковей вы на меня взирали...
Да! вы меня жалели!.. В комнате моей
Сырой был холод по ночам: вы это знали --
И вы укрыться мне свою мантилью дали.

О как же я, нарядом странным облеченный,
Был счастлив и смешон! Как жарко целовал
Мантилью вашу я! Как я в ночи бессонной
Ее к груди моей безумно прижимал!
А к утру я заснул так сладко, так раздольно,
Как будто б сон напел мне ангел песней вольной.

В этом стихотворении Ник предо мной как живой. Он, прижавшись молча в уголок, втихомолку ревнует и любит "ею", когда она говорит с каким-то красивым юношей. Как он любит сам про себя, так он и ревнует сам про себя.

Ник сопровождает ее в прогулках верхом, зеленый вуаль ее касается его -- и он счастлив! Он еще счастливее, когда она, заметив его чувство, стала к нему нежней или, скорей, внимательней. Комната, которую он занимает у них в доме, холодна, -- она дает ему свою мантилью прикрыться на ночь. Под этой мантильей ему спится так хорошо и раздольно, как бы под песню ангелов. В этом стихотворении он поразительно верен себе.

Его скромность, его честная душа и деликатность еще ярче выступают в третьем стихотворении. Сомневаясь в действительности своего чувства, он не столько боится признанием заронить любовь в ее сердце, сколько возбудить в ней к себе жалость. Он только бумаге поверяет свое чувство, желая, чтобы и то, что он пишет, она не видала никогда. По-видимому, в это время он написал ей многие из своих стихотворений.

III86

Как часто я, измученный страданьем,
Любовь мою вам высказать хотел;
Но ваш покой смутить моим признаньем,
Благоговя, никогда не смел.

Не потому, чтобы оно невольню
Могло любовь вам в сердце заронить;
Но вы жалели б, вам бы стало больно,
Что вы меня не можете любить.

А втайне я желал, чтоб вы узнали,

Чего-то ждал, чему-то верил я,
И тешила надежда сквозь печали
Обманчивой улыбкою меня.

А часто не хотел себе я верить,
Хотел не верить, что я вас люблю.
Я думал: если искренно проверить
Всю жизнь прошедшую мою --

Ведь я уже не раз любил, -- и что же?
Горела, гасла, длилась, гасла вновь,
На сны в ночи бродячие похожа,
Моя тревожная любовь.

И к вам любовь, быть может, так же точно
Фантазии недолговечный плод,
В душе возникнув как-то ненарочно,
Меня помучит и пройдет.

Так я, глупец, напрасным утешеньем
Хочу добыть обманчивый покой,
Но сердце не знакомится с забвеньем
И не расходится с тоской.

Бывало, я, в ребяческой отваге,
Мечты любви стихам верить желал,
Но был ленив, теперь же от бумаги
Пера бы я не оторвал.

Теперь же, только лишь тогда дышу,
Тогда лишь я могу существовать,
Когда страницы эти к вам пишу,
Хотя вам ввек их не видать.

И не любил еще я так глубоко,
Как вот, когда с капризной враждой,
Томя меня любовью одинокой,
Судьба смеется надо мной!

Далее Ник кладет в ее альбом ветку кипариса, сорванную с могилы, носит на груди работу ее рук, ее письма и уезжает, по-видимому, в Италию, унося в душе ее образ.

IV87

Я сорвал ветку кипариса
С могилы женщины святой,
И слезы теплые лилися,
И дух исполнился мольбой.

И тень ее на помощь звал я
И, изнывая в скорби, ей
Тревожно тайну поверял я
Любви тоскующей моей.

И, преклоняясь над могилой,
Молил, чтоб из страны иной
Мою любовь благословила
Она невидимой рукой.

И скорби сердца улеглись;
Я веры тайной полон был
И тихо ветку кипариса
Я в книгу эту положил.

V88

Залог блаженства в жизни скучной,
Залог спасения от мук,
Ношу с собой я безотлучно
Ваш дар, работу ваших рук.

Еще с собой ношу всегда я
Все те страницы, что ко мне,
Шутя, писали вы, не зная,
Как драгоценны мне оне.

Еще ношу я как святыню
Ваш образ в памяти моей
И оживляю им пустыню
Моих бесплодно длинных дней.

VI89

Вчера я в церковь dell'Annunziata
Пришел. Была вечерняя молитва.
Монахи пели, и гремел орган;
Под темным сводом звуки сотрясались
Таинственно. Толпились люди, тихо
И набожно колена преклоняя.
Я стал у ног знакомой мне статуи
И очи поднял к ней с любовью грустной
Свет падал на нее задумчиво
Сквозь окон купола. Над ней носился
Дух божий в виде голубином.
И мне казалось, что кто-то свыше
Меня благословляет. Что хотел
В ней выразить художник неизвестный?
Не знаю. Ключ у ней в руке, у ног
Ее собачка с умным, добрым взглядом.
Казалось мне, собачка на меня
Смотрела, будто с ласкою печальной,
Быть может, что она внутри меня
Любви читала повесть и жалела.
А статуя взирала только к небу.
Звала ль меня? Сулила ли блаженство
Или меня заметить не хотела?..
Так вашей жизнью я одушевлял,
В безумии, немое изваянье;
Искал любви и знать судьбу хотел,
И горько насмеялся над собою!
В то время девочка, ребенок милый,
Взошла и стала возле на ступени
И глазками невинными смотрела
На статую. А я благодарил

Внутри души прекрасного ребенка
За симпатию. После стал я долго,
Внимательно рассматривать лицо
И находить все, что на вас похоже
И что не так. И вы так живо, полно
В моем воображенье создались,
Что я забылся, не хотел уйти...
Мне хорошо на этом месте было.
Но смолк орган, народ стал расходиться,
Действительность разрушила мой сон,
И медленно пошел я, скорбным взором
Со статуей прощаяся до завтра.

В церкви dell'Annunziata ему олицетворяется ее образ в статуе.

Наконец из-за границы он напоминает ей о начале одной музыкальной пьесы -- несколько аккордов, которые он часто брал на фортепьяно. Эти аккорды должны напоминать его ей на дальней родине.

VII90

В тиши ночной аккорд печальный
Тревожит мир души моей,
Как будто отголосок дальний
Былого счастья, лучших дней.

Опять тоска, опять стремленья,
И страсть, и скорбь проснулись вновь,
Опять нет веры в сновиденья,
Опять мучительна любовь.

О, если б вам в отчизне дальней
Случайно, как-нибудь, во сне
Раздался мой аккорд печальный --
Вы вспомянули б обо мне?

И, не любя, но сострадая,
Подумали б, как в поздний час,
Под скорбный звук изнемогая
Я втайне думаю об вас.

Весной 1878 года, в Петербурге, получила я письмо от сестры Ника, Анны Платоновны Плаутиной. Она писала мне, что в июне месяце 1877 года Ник кончил жизнь после непродолжительной болезни, вблизи Лондона, где он постоянно жил по приезду из Женевы,

Мери дала знать о его болезни в Париж детям Александра-Тэта немедленно приехала в Англию и оставалась у Ника, кажется, до его последних минут.

Жалеть ли о нем? Жизнь Ника, поэта-романтика, а не политического деятеля, к чему он был привлечен по чувству дружбы, но не по натуре своей⁹¹, должна бы была, судя по ее началу, проходить в роскоши и радости, а она была рядом лишений, страданий и утрат. С детства радость как будто отлетела от его души, -- и дала ему песнь в отраду, и песня эта была так грустна! Ничто не удавалось ему в жизни -- все было разбито, и душа, и сердце, и здоровье. Кто же виноват в этой неудавшейся жизни? Сам он? -- Другие? -- Другие, да. Но что он сам? -- Горячее, привязчивое, честное сердце, -- он верил во все и во всех, -- и жизнь во всем обманула его. Он не блестел, как друг его Александр. -- Скромный, тихий, кроткий, любящий, он нигде не выдвигался, а, напротив, всегда стушевывался и не искал славы. Это сердце, которое перестало теперь биться, было "золотое".

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящие главы публиковались в 1881 г. в журнале "Полярная звезда", редактором-издателем которого был Е. А. Салиас де Турнемир (глава 1 -- в No 1, стр. 137--151; глава 2 -- в No 2, стр. 19--31; глава 3 -- в No 3, стр. 61--76; глава 4 -- в No 4, стр. 123--132, и No 5, стр. 133--144). По этому тексту они и перепечатываются нами. Посвященные Огареву, эти главы в некоторых частях повторяют то, о чем Пассек уже рассказала в основном тексте своих записок, но с добавлением ряда подробностей, там отсутствующих. Кроме того, Пассек ввела в эти главы и много нового материала как мемуарного (ранние встречи свои с Огаревым, история его первой женитьбы и разрыва с Марией Львовной, любовь Огарева к Н. А. Тучковой и др.), так и документального (письма Огарева и Герцена к Н. И. и С. И. Астраковым, третья и четвертая главы "Записок русского помещика", письма Огарева к Пассек и др.). Большую часть этих последних материалов Пассек получила от Т. А. Астраковой.

1 Эпиграф из стихотворения Огарева "Портреты" (1856); последние четыре строки из его же стихотворения "Много грусти" (1841).

2 См. в первом томе наст. изд., прим. 9 к главе 15.

3 О московском доме Огарева см. в первом томе наст. изд., прим. 2 к главе 25.

4 Бабушка Огарева по отцу умерла в феврале 1826 г. О ней он вспоминает в незаконченной автобиографии "Моя исповедь" (ЛН, т. 61, стр. 677, 687--689). Образ ее обрисован также в поэме "Юмор" (часть вторая, глава 9). Рассказ о смерти бабушки Огарева и о начале его дружбы с Герценом Пассек основывает "а Былом и думах" (Г, т. VIII, стр. 78--79).

5 Рассказ о клятве на Воробьевых горах Пассек заимствовала из "Былого и дум" (Г, т. VIII, стр. 81--82). Там же Герцен привел и отрывок из письма к нему Огарева от 7 июня 1833 г., не вполне точно перепечатанный ниже у Пассек. Полностью это письмо опубликовано в ЛН, т. 61, стр. 713.

6 Цитата из "Былого и дум" (Г, т. VIII, стр. 82).

7 Речь идет об аресте членов тайного кружка Сунгурова (см. о нем в первом томе наст. изд. главу 23 и прим. 3 к ней).

8 Неточная цитата из заключительной части письма Огарева от 7 июня 1833 г.

9 Письмо Герцена к Огареву от 7 или 8 августа 1833 г. (Г, т. XXI, стр. 23--24); ответ на него Огарева от 18 августа был опубликован в "Русской мысли", 1888, No 9, стр. 1--3.

10 В первом абзаце Пассек приводит отрывки из дважды уже цитированного ею письма Огарева от 7 июня

1833 г. Этот же отрывок приведен в "Былом и думах", где Герцен в связи с признаниями Огарева размышляет о "восторженном лепете юноши" и о "беспокойстве зарождающегося таланта" (Г, т. VIII, стр. 160). Во втором абзаце Пассек пересказывает эти мысли Герцена.

11 Из поэмы Огарева "Юмор" (часть первая, глава 4).

12 7 июня 1833 г. Огарев сообщал Герцену: "Я теперь уже начал писать ораторию для Гебеля "Потерянный рай". Сатин улыбнулся, когда я объявил ему такое заглавие. Бог с ним! А я здесь вижу идею истории человечества. Не смейся. Если ты помнишь мои стишки "Тоска по отчизне", то ты поймешь, что действительно идея истории человечества заключается в потерянном рае. В этом смысле я хочу выработать ораторию" (ЛН, т. 61, стр. 714). 10 июля он писал, что "первая часть оратории кончена, вторая начата" ("Голос минувшего", 1919, No 1--4, стр. 68--69). Работу эту Огарев, по-видимому, до конца не довел.

13 Строки из "Евгения Онегина", глава шестая, строфы XXX--XXXI). Е. Ф. Корш редактировал "Московские ведомости" в 1843-- 1848 гг.

14 Огарев был арестован 9 июля 1834 г. Об ошибке Пассек в дате см. выше, прим. 3 к главе 27. Весь последующий рассказ до истории несостоявшегося свидания с Огаревым представляет собой сокращенное изложение текста из "Былого и дум" (Г, т, VIII, стр. 172--175 и 178--179).

15 Ошибка в дате: Герцен был арестован в ночь на 21 июля 1834 г.

16 Рассказ об окончании следствия и объявлении приговора также представляет собой сокращенное изложение текста "Былого и дум" (Г, т. VIII, стр. 209--216). Буквой Ц... Пассек обозначает полицеймейстера Цынского; между тем, по Герцену, с этими словами к Огареву обратился член следственной комиссии, жандармский полковник Шубинский.

17 Неточная цитата из поэмы Огарева "Матвей Радаев" (часть первая, глава 2). Относя написание этих строк к 1835 г., Пассек ошиблась: Огарев работал над поэмой в конце 50-х годов.

18 О Маше Наумовой и ее печальной судьбе Огарев рассказал подробнее в третьей главе "Записок русского помещика" (см. стр. 613--615 наст. тома), а также в "Моей исповеди" (ЛН, т. 61, стр. 696--700).

19 Огарев женился на М. Л. Рославлевой 26 апреля 1836 г.

20 Цитата из "Былого и дум" (Г, т. IX, стр. 12). В последующем рассказе о семейной жизни Огаревых Пассек также пользуется этой главой "Былого и дум". О свидании Герцена с Огаревым во Владимире см. прим. 10 к главе 30.

21 Цитата из несохранившегося письма Н. А. Герцен. По-видимому, Астракова использовала здесь то же мартовское письмо 1839 г., другую цитату из которого она привела раньше (см. стр. 92 наст. тома и прим. 11 к главе 30).

22 О приезде Герцена из Владимира в Москву и о его поездке в Петербург см. выше, прим. 7 к главе 29.

23 Это письмо следует отнести к 1840 г., когда Герцен был уже в Петербурге. Письмо Герцена к Огареву, о котором упоминает последний, не сохранилось.

24 Пассек повторяет здесь то, что было ею сказано на основе "Былого и дум" в главе 29.

25 В рассказе о М. Л. Огаревой и об отношении к ней Герцена Пассек использовала "Былое и думы" (Г, т. IX, стр. 12--14).

26 Огаревы выехали за границу в конце мая 1841 г.

27 В описании Соколова и в рассказе о начавшемся разладе между Герценом и его друзьями Пассек частью опирается на "Былое и думы" (Г, т. IX, стр. 207--212), а частью использует воспоминания Астраковой, приведенные ею уже в главе 42.

28 Более подробно Тучкова-Огарева рассказала об этом в главах четвертой и пятой третьего тома "Из дальних лет".

29 Тучковы выехали из Парижа 9 августа н. ст. 1848 г. Этим числом и следует датировать несохранившееся письмо Н. А. Герцен, одну фразу из которого приводит Астракова.

30 Сатин женился на Е. А. Тучковой 27 мая 1849 г. О поездке Огарева и Н. А. Тучковой на юг см. выше, прим. 11 к главе 4 третьего тома "Из дальних лет".

31 Подлинники этого и последующих писем Огарева к С. И. Астракову не сохранились.

32 Полуфиктивная продажа пензенского имения была задумана Огаревым и осуществлена в 1849 г. в связи с его намерением тайно покинуть пределы России, вследствие чего его имущество подвергалось опасности конфискации. См. об этом в сообщении "Сатинский долг Герцену" (ЛН, т. 63, стр. 714).

33 О судьбе денег, назначавшихся первой жене Огарева в уплату выданного ей векселя, см. в работе Я. З. Черняка "Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве", М.--Л. 1933.

34 Еще в 1839 г. Огарев задумал осуществить освобождение крестьян самого крупного из доставшихся ему по наследству имений -- села Верхний Белоомут Рязанской губернии. Договор, заключенный с крестьянами в октябре 1840 г., предусматривал передачу крестьянам всех земель -- не только лесов, но и лугов, пахотной земли и проч. -- за ничтожную выкупную плату. Договор был утвержден царем после долгой проволочки и вступил в силу только в 1846 г. (см. ЛН, т. 61, стр. 845--848).

35 М. Л. Огарева умерла в Париже 28 марта 1853 г. Огарев и Н. А. Тучкова обвенчались в конце того же года.

36 Это письмо не сохранилось.

37 О С. И. Астракове и о проекте приглашения его в качестве управляющего Тальской бумажной фабрикой, принадлежавшей Огареву, см. ЛН, т. 62, стр. 9--13.

38 Из поэмы Огарева "Юмор" (часть первая, глава 1).

39 Статья Д. М. Перевозицкова "Франсуа Араго", написанная по случаю смерти знаменитого французского физика и астронома, была напечатана в "Отечественных записках", 1853, No 12. Он же был автором анонимной статьи "Франсуа Доминик Араго и его ученые труды", появившейся в "Современнике", 1853, No 12. О какой из этих двух статей пишет Огарев, остается неясным.

40 Неточная цитата из песни Кольцова "Дума сокола" (1840).

41 Грановский умер в Москве 4 октября 1855 г.

42 См. выше, прим. 74 к главе 5 третьего тома "Из дальних лет".

43 Цитата из "Горя от ума" (действие 1-е, явление 7-е).

44 Автобиографическая повесть Т. А. Астраковой "Воспитанница" была напечатана в "Современнике", 1857, No 10.

45 Письмо от 26 октября/7 ноября 1856 г. вместе с припиской Герцена сохранилось только в этой публикации Пассек.

46 Это августовское письмо 1856 г. написано Огаревым; Герцену принадлежит только его конец (от слов "Дорого бы я дал..." к Огарев откликается здесь на письмо С. И. Астракова, в котором тот сообщал, что был принят главноуправляющим путей сообщения К. В. Чевкиным по вопросу о проекте усовершенствования паровоза).

47 Отец Тучковой-Огаревой А. А. Тучков приехал в Лондон в конце июня 1857 г. и пробыл там до 18 июля.

48 У Пассек фамилия М. И. Полуденской, сестры Н. И. Сазонова, была напечатана сокращенно: "М. И. По -- ой".

49 Это письмо и приписка к нему Герцена относятся к декабрю 1856 г.

50 Пассек выехала за границу в начале ноября 1872 г. Об этой поездке и о встрече с Огаревым в Женеве она рассказала в главе 3 третьего тома "Из дальних лет".

51 О письмах Огарева к Пассек см. выше, прим. 3 к главе 3 третьего тома "Из дальних лет". О настоящем письме см. в справке ЛН, под No 1 (как и в примечаниях к главе 3 третьего тома, мы не даем здесь и ниже подробных сведений о приводимых письмах Огарева, ограничиваясь отсылкой к справке об известных

письмах его к Пассек -- ЛН, т. 63, стр. 641--646). Текст стихотворения "Твое письмо меня нашло..." сохранился на одном из листов автографа поэмы "Матвей Радаев" и вместе с нею был опубликован (более исправно, чем в "Полярной звезде") в РС, 1886, No 2. Огарев откликается в письме на сообщение Пассек о печатающихся в "Русской старине" ее записках и на просьбу прислать ей свои воспоминания, которые она включит в свой текст.

52 Автобиографический характер имеют многие поэмы Огарева -- "Юмор", "Деревня", "Зимний путь", "Тюрьма", "Матвей Радаев" и др. Какую из них имеет в виду Пассек, установить трудно. В "пражской коллекции" сохранилось начало автобиографического стихотворения "Моя биография", датированного 1872--1873 гг. (ЛН, т. 61, стр. 646--647). О нем Пассек могла узнать от Огарева во время свидания с ним в 1873 г.

53 Над автобиографическими "Записками русского помещика" Огарев начал работать в 1873 г. по настоянию Пассек. Черновик глав 1 и 2 сохранился в записной тетради Огарева (ЛБ, Г -- О. VII, No 5, тетр. 35. 2, лл. 2--8 об.). Автографы, пересылавшиеся Пассек, до нас не дошли. В связи с цензурными препятствиями Пассек смогла напечатать отрывки из "Записок" только в 1878 г., в отдельном издании первого тома "Из дальних лет" (глава 15 "Ник"), Этот отрывок соответствует по содержанию главам 1 и 2. В "Полярной звезде" она восполнила некоторые из цензурных пропусков.: Позднее обе первые главы были напечатаны по утраченному впоследствии автографу в "Былом", 1924, No 27--28, стр. 14--16. Главы 3 и 4 известны только по публикации "Полярной звезды". Об истории работы Огарева над "Записками" см. ЛН, т. 63, стр. 588--598. В качестве эпиграфа к первой главе "Записок русского помещика" Пассек привела неточную цитату из поэмы Огарева "Матвей Радаев" (Посвящение).

54 См. в справке ЛН, под No 13. Начало письма уже было приведено Пассек в главе 15 первого тома "Из дальних лет". Полиостью оно было опубликовано по автографу, местонахождение которого теперь неизвестно, в "Невском альманахе", вып. II, Пг. 1917, стр. 197--198. 6 апреля (25 марта ст. ст.)--день рождения Герцена,

55 Письмо от 18 октября 1873 г. В качестве второго абзаца Пассек присоединила к нему часть из более раннего письма от 7 марта того же года. См. в справке ЛН под No 26 и 11. Саша -- сын Герцена.

56 О "Записках русского помещика" см. выше, прим. 53 к настоящей главе. К тексту второй главы "Записок", начинающемуся словами: "Когда мне было тринадцать лет...", Пассек присоединила начало -- воспоминания о матери, составленные ею из отрывков поэмы "Матвей Радаев" (часть первая, глава 2). Эпиграф -- неточная цитата из того же источника.

57 Это стихотворение Пассек впервые опубликовала в главе 15 первого тома "Из дальних лет" и повторно -- в No 5 "Полярной звезды", 1881 г. (см. стр. 626 наст. тома).

58 Об учителе математики И. Ф. Волкове Герцен вспоминал в повести "О себе" -- см. отрывок из нее в главе 14 первого тома наст. изд.

59 Об этом письме см. выше, прим. 10 к главе 3 третьего тома "Из дальних лет". Там оно было напечатано более исправно. В "Полярной звезде" Пассек внесла в него ряд произвольных изменений: так, во втором абзаце Огарев выражал надежду, что она сумеет "влепить" в свои записки отрывки из его автобиографической поэмы "Тюрьма". Вместо этого здесь идет речь о неопределенном "отрывке из моих воспоминаний в стихах".

60 См. в справке ЛН под No 20. В тексте письма у Пассек вместо Тата было ошибочно напечатано: Маша. Исправляем эту ошибку на основании письма М. К. Рейхель к Пассек, относящегося к зиме 1873 г. (см. в наст. томе, стр. 464). В приписке Огарев упоминает о двух статьях в журнале "Дело", 1873, No 7. Первая из них -- "Постного" (псевдоним П. Н. Ткачева) "Тенденциозный роман", о романах А. К. Шеллер-Михайлова; вторая -- С. С. Шашкова "Пушкин и Лермонтов", в ней с нигилистических позиций был дан очерк жизни и творчества Пушкина.

61 См. в справке ЛН под No 21. В письме от 6 сентября/25 августа 1873 г. Пассек предлагала Огареву похлопотать через кн. Н. А. Орлова о разрешении ему вернуться в Россию.

62 См. выше, прим. 53. Эпиграф -- неточная цитата из поэмы Огарева "Матвей Радаев" (часть первая, глава

2); "Я вспомнил про утро мая..." -- также неточная цитата из того же источника; следующая цитата из стихотворения 1842 г., посвященного М. П. Наумовой ("К подъезду!..").

63 См. в справке ЛН под No 14 и 19.

64 См. в справке ЛН под No 15.

65 См. выше, прим. 53.

66 Из стихотворения Огарева "Старый дом" (1840). Более полно Пассек использовала его в конце главы 16 первого тома "Из дальних лет".

67 Из поэмы "Матвей Радаев" (часть первая, глава 2).

68 См. в справке ЛН под No 25. Три стихотворения, присланные с настоящим письмом, Пассек напечатала в пятой книжке "Полярной звезды" (см. стр. 626--627 наст. тома).

69 Этот текст составлен из двух писем: начало -- из письма от 13 июля 1874 г., остальная часть -- из письма от 30 сентября 1873 г. См. в справке ЛН под No 29 и 23. Строки, приведенные в конце письма, относятся, вероятно, к стихотворению "Моя биография", над которым Огарев работал в 1872--1873 гг. Из этого стихотворения известно только начало, в котором нет строк: "Пусть тьма ночная тихо бродит..." (см. ЛН, т. 61, стр. 646--647).

70 Рассказ о поездке в Англию представляет собой сокращенное изложение главы 47 второго тома "Из дальних лет". Имя В. И. Кельсиева там отсутствует. Он находился в Лондоне с мая 1859 г. до осени 1862 г., следовательно, Пассек могла видеть его в доме Герцена -- Огарева.

71 Первый абзац из письма от конца марта -- начала апреля 1873 г., уже приведенного выше (см. стр. 615 наст. тома); дальнейший текст -- из письма от 1 февраля 1873 г. См. в справке ЛН под No 14 и 5.

72 Имеется в виду "Рассказ о семейной драме" из пятой части "Былого и дум".

73 Рассказ о свидании с Огаревым повторяет в основном то, что было сказано в главе 3 третьего тома "Из дальних лет".

74 Намек на объяснение Герцена и Тучковой-Огаревой с Огаревым об их семейных отношениях.

75 Поэма Некрасова "Русские женщины" после публикации в "Отечественных записках" была напечатана в книге "Стихотворения Н. Некрасова", часть V, СПб. 1873. Эту книгу Пассек и могла привезти Огареву.

76 О получении от Огарева писем Герцена к нему Пассек рассказала также в главе 3 третьего тома "Из дальних лет". Приведенный в конце абзаца текст Герцена взят не из письма его к Огареву, а из дневника 1844 г., запись 26 июня (Г, т. II, стр. 361).

77 См. выше, прим. 14 к главе 3 третьего тома "Из дальних лет".

78 См. в первом томе наст. изд. прим. 7 к главе 15.

79 См. выше, прим. 7 к главе 3 третьего тома "Из дальних лет".

80 Это сокращенный текст письма от 26 августа 1873 г. См. в справке ЛН под No 19.

81 Письмо от 23 декабря 1873 г., посланное не в Яссы, а в Прагу, где тогда жила Пассек. См. в справке ЛН под No 27. Огарев отвечает на письма Пассек от 19 ноября/1 декабря и 6/18 декабря 1873 г. К первому из них Пассек приложила текст поэмы "Кривоклад", в которой ее пражская знакомая П. Гусева пересказывала чешскую народную легенду. К этой поэме и относится замечание Огарева: "Ты, кажется, славянофильствуешь". В. М. Озеров в декабре 1873 г. выехал по совету врачей из Женевы в швейцарский городок Сонвилье. Об этом замечательном русском революционере и его отношении к Огареву см. публикацию С. И. Шкроба (ЛН, т. 62, стр. 433--462).

82 Тексту стихотворений Пассек предпослала начальную фразу из октябрьского письма 1873 г., уже приведенного ею (см. стр. 617 наст. тома). О стихотворении "Памяти друга" см. в первом томе наст. изд. прим. 5 к главе 15. Стихотворение "Раздумье" (напечатано без второй строфы) было получено ею при письме от 26 января 1873 г. (см. в справке ЛН под No 3). Стихотворение "Старость" было написано в 1872 г. В переписке Огарева с Пассек упоминаний о нем нет.

83 См. в справке ЛН под No 30. В связи с предписанием швейцарского правительства покинуть Швейцарию Огарев осенью 1874 г. переехал в Англию, где и оставался до конца жизни.

84 Следующие далее стихотворения Огарева Пассек взяла из записной тетради, подаренной ему Герценом 1 января 1842 г. в Новгороде. В эту тетрадь Огарев внес стихотворения 1841 г., а затем и новые, написанные им в 1842--1844 гг. во время путешествия по Италии, Франции и Германии. Все они образовали лирический цикл "Buch der Liebe" ("Книга любви"), посвященный Евдокии Васильевне Сухово-Кобылиной ("Душеньке"), сестре драматурга А. В. Сухово-Кобылина. Ее имя и скрыто у Пассек в заглавии цикла под буквой E ***. Тетрадь Огарева была предоставлена Пассек редактором-издателем "Полярной звезды" Е. А. Салиасом де Турнемир, племянником "Душеньки". В настоящее время тетрадь хранится в ИРЛИ. Весь цикл состоит из сорока пяти стихотворений, из которых Пассек выбрала семь, присоединив к ним соседние три, так что фактически ею напечатано десять стихотворений, в том числе первое, в настоящее время отсутствующее в тетради (в ней недостает нескольких листов). История создания этого лирического цикла изложена Я. З. Черняком (ЛН, т. 61, стр. 648--652; см. также в книге: Н. П. Огарев, Избранные произведения, т. 1, М. 1956, стр. 453--455).

85 Под цифрой II Пассек соединила три стихотворения: первое из трех строф, второе -- строфы 4--7, третье -- строфы 8--10. Все они написаны в июле -- августе 1842 г.

86 Под цифрой III Пассек соединила два стихотворения: первое состоит из строф 1--3, второе -- из остальных строф. Оба они также написаны в июле-- августе 1842 г.

87 Стихотворение относится к тому же времени.

88 Стихотворение написано осенью 1842 г.

89 Стихотворение написано во Флоренции в октябре 1842 г. Церковь dell'Annunziata (Благовещения) упоминается в предыдущем стихотворении цикла, не вошедшем в публикацию Пассек. Там Огарев описывает надгробный памятник в церкви, с двумя мраморными женскими фигурами; одна из них напомнила ему "Душеньку".

90 Стихотворение написано в октябре 1842 г.

91 Об этой ошибочной характеристике Огарева см. во вступительной статье к наст. изд.